Я погиб в первое военное лето

Юхан Пээгель

SHOUT
SHARE
IT

- Пээгель Юхан
  -

Пээгель Юхан
Я погиб в первое военное лето

Юхан Пээгель
Я погиб в первое военное лето
Роман-фрагментарий
Пер. с эст. - О.Самма.

Моему возможному читателю: притом, что события в этих историях на девять десятых достоверны, пережиты, увидены и услышаны, все же это не документальная книга. Не пытайтесь искать за именами абсолютно конкретных людей.

Автор

1

Рассказ мой не будет долгим, потому что я, рядовой Яан Тамм, погиб в первое же военное лето. Одним погожим сентябрьским днем меня похоронили колхозники, согнанные из полусгоревшей деревни, в общей могиле на самом краю погоста. Этой работой руководил пожилой штабной фельдфебель одного немецкого тылового подразделения, он задыхался от жары, трупного запаха и собственной толщины и при этом похабно ругался. Здесь нас покоится не так уж много, не то что в Хилове, где похоронен почти весь эстонский батальон. Как уже сказано, в последний путь нас провожало грязное немецкое ругательство. Только несколько немолодых русских женщин украдкой плакали, а один бородатый дед крестился и охал. По правде говоря, гораздо больше хлопот фельдфебелю доставляли не мы, а собственные покойники, которых здесь было в три раза больше. Из-за этого фельдфебель и ругался. Вдобавок ко всему большую часть немцев чудовищно изрешетила картечь.

Не знаю, кто успел стянуть у меня с ног добротные юфтевые сапоги со шпорами и снял ремень. Что касается остальной одежды, так она уже ничего не стоила: все пропиталось запекшейся кровью, особенно гимнастерка. Поэтому карманы никто и не обшарил, там у меня было несколько фотографий.

На одном снимке я изображен за несколько дней до окончания школы, на другом - уже солдатом, но еще в эстонском мундире, и был еще один снимок, моментальный; по дороге на фронт мы с ребятами снялись в каком-то селении у местного фотографа. Там же лежала карточка моей девушки, очень красивый, чуть коричневатый снимок, и последнее письмо из дому, которое я получил в Северном лагере как раз накануне войны. Да, и рублей десять денег, но это, разумеется, совсем не

существенно.

Все было в крови, меня ведь ударило прямо в грудь. Рядом со мной лежат еще двое ребят из нашего полка, тоже, как и я, тысяча девятьсот девятнадцатого года рождения, потом несколько пехотинцев из одной русской части и один мальчуган, которого немцы расстреляли здесь же, в ближней деревне, за то, что он бросил бутылку с горючим в их танк, потом лейтенант Рокс, за ним политрук Шаныгин, его, уже мертвого, немцы всего искололи штыками, когда обнаружили удостоверение политрука.

Не знаю, нужно ли мне считать, что я несчастнее тех, кто погиб после меня, кто вынес много солдатских тягот и прошел через бесчисленные сражения. Может быть, я даже счастливее. Особенно тех, кто погиб в последний День войны, и даже когда она уже кончилась.

Конечно, я сплю здесь против воли; я был еще очень молод, и мне так хотелось жить. Такова моя судьба, и с нею солдат должен мириться.

Только ведь все это было в конце.

Для того чтобы вы знали, почему я навсегда остался а красноватой земле Псковщины, я расскажу вам мою историю так, как сумею.

2

В то воскресенье, когда началась война, в печорском [Печоры (по-эстонски Петсери) - город на юго-восточной границе Эстонии] Северном лагере состоялся большой митинг.

Выступал комиссар полка, лысый украинец Добровольский, переведенный к нам прошлой осенью из какой-то кавалерийской части и еще долго носивший черную бурку и красный башлык.

Смысл его речи был ясен: фашисты не победят, потому что наша армия морально более стойкая и лучше вооружена. У нас умные командиры, нами руководят партия и гениальный Сталин. У нас надежный тыл. Враг скоро будет разбит, и нас ждет победоносная дорога на Берлин.

Потом на импровизированную трибуну поднялся командир одного из дивизионов. Он коротко сказал, что полк наверняка будет хорошо воевать.

Затем выступили еще один сержант и один рядовой, молоденький грузин, с весенним пополнением неизвестно как попавший в эстонский полк. На ломаном русском языке он сказал, что дружба народов приведет: нас к победе.

В заключение спели "Интернационал".

В Иванов день со скрипом и скрежетом, в походном порядке мы двинулись в направлении Тарту.

Там был сформирован боевой состав полка. Из России

пришло пополнение: мобилизованные, большей частью очень молодые и совсем мальчики. Их сразу, же остригли и выдали им обмундирование. Все было оставшимся от прежней армии: брюки солдатского сукна, сапоги фабрики "Унион", летние гимнастерки, с которых были срезаны погоны и на воротники нашиты красноармейские петлицы (черные с ярко-красным кантом). И шинели были прежнего времени, только без погон и с новыми эмблемами рода войск. Ранцы, как у немцев, с клапанами из телячьей кожи. И каски тоже немецкие - серые, времен первой мировой войны.

У крестьян со всей округи дополнительно реквизировали лошадей. Большая часть их никогда, естественно, не ходила ни в артиллерийской упряжке, ни под строевым седлом.

И орудия наши - тоже остатки первой мировой войны. Черт его знает, по кому из них когда-то стреляли: по красным, по белым или по ландесверу на подступах к Риге. Слава богу, что хоть карабины были старые русские, трехлинейные, а не английские, как в некоторых наших пехотных полках территориального корпуса. Но самой последней новинкой были, несомненно, противогазы: весьма солидная работа. Даже некоторым лошадям хватило. Только таскать тяжело, мы их потом побросали. А в сумках удобно было держать хлеб, табак, полотенце и все прочее.

Дни формирования были волнующе сумбурными. Полк отправлялся в бой, являя собой достаточно пеструю массу. И, наверно, не только внешне, не только из-за снаряжения.

В военном отношении неурядицу вносило еще и то, что среди пополнения лишь немногие люди прежде служили в артиллерии. Короче говоря, половина наших солдат была не обучена. И еще - мы, старые солдаты, и добрая доля (особенно молодых) эстонских офицеров знали только несколько слов по-русски. Не всем даже была понятна русская команда. А русские, конечно, даже выругаться по-эстонски не умели. Так что и тут хватало неразберихи.

Никто из нас не верил, что таким образом мы сможем взять Берлин.

3

Я встретил ее - мою бывшую одноклассницу, теперь студентку - на углу улицы Густава Адольфа и Кроонуайя.

Выглядел я очень воинственно: пустой карабин на ремне на левом плече (он, как нарочно, оказывался на левом, потому что сразу же после призыва я был так обучен, а в Красной Армии оружие носят на правом плече), на поясе пустой патронташ, на спине ранец. Шпоры звенели залихватски.

- Нас отправляют, - сказал я, - всего тебе хорошего.

Мы были просто добрые знакомые, я никогда за ней не ухаживал.

- Тебе всего хорошего, - сказала она, подавая руку, - может, никогда уже больше не увидим друг друга...

- Вот еще, что же мы, ослепнем, что ли, - глупо сострил я в ответ.

Подумать только, до чего серьезно относилась ко всему девушка: на войне ведь в самом деле могут убить.

Честно скажу, до тех пор я об этом не думал.

Могут, конечно, убить, только разве именно мне на роду написано отправиться на тот свет?

И вообще, долго ли ей быть, этой войне? Через две недели станет ясно: или рука в золоте, или сам в земле.

(Я так и не узнал, что моя одноклассница, с которой мы попрощались на углу улицы Кроонуайя и Густава Адольфа, осенью того же года познакомилась с толстым и лысым немецким майором-тыловиком, которого поселили в доме ее матери (отец девушки давно умер). Майор был добрый и любезный, в трудное время вся семья жила на даримые им консервы и эрзац-кофе, смеялась его компанейским шуткам, оживлялась от его маркитантского шнапса. ("Nur fur Wehrmacht!") Только такой, как я, идеалист мог бы удивиться, что осенью 1944 года эта хрупкая девушка вместе с майором, в качестве его невенчанной жены, бежала в Германию. Там выяснилось, что на родине у удачливого майора имеется упитанная супруга и прелестные детки. В лагере для беженцев моя одноклассница (вдобавок к пережитому шоку) заразилась сыпным тифом и умерла, предварительно наголо обритая. Местонахождение ее могилы, так же как и моей, близким не известно.)

4

Мы получили разрешение и по двое, по трое направились в лавку рядом с костелом. Хотели купить курева и какой-нибудь еды, которая в жару не так быстро портится, потому что завтра рано утром должна начаться отправка на войну. Говорят, пойдем защищать побережье Северной Эстонии.

Возле самого костела нам навстречу попался пьяный:

- Здорово, эстонские ребята! Ну что, везут вас, как баранов, немцам на заклание! - разглагольствовал он. - Какого" дьявола вы вообще пустили сюда этих русских... Чертовы идиоты... Я, старый куперьяновский партизан... [Юлиус Куперьянов - легендарный командир отдельного партизанского батальона эстонской армии] - и бил себя кулаком в грудь.

Мы ушли, пусть себе дальше лопочет...

Народу в лавке было мало. Сделали свои нехитрые покупки и собрались уходить.

- Сыночки, да хранит вас бог...

У окна стояла пожилая женщина, она взглянула на нас и заплакала.

...Мама, мамочка, где ты? Как хорошо, что ты нас не провожаешь, насколько тяжелее было бы уходить...

5

Мы идем совсем не на Северное побережье. Направление наше - Печоры.

Очень раннее утро. Полк выстроен прямо на булыжной мостовой, около парка. С реки тянется туман, пахнет каштанами и липами. Лошади пронзительно ржут, фыркают, постромки и новые с иголочки седла поскрипывают. С реквизированными у крестьян лошадьми просто беда: брыкаются, фокусничают, сопротивляются, никогда ведь они не ходил и ни в артиллерийской упряжке, ни под седлом.

Провожающих мало: несколько заплаканных офицерских жен.

Старшина батареи Раннасте, бывший сверхсрочник кавалерийского полка, переведенный к нам прошлой осенью, на тротуаре, прощаясь, целует жену, довольно красивую и молодую, потом весьма элегантно прыгает в седло.

И тут в голове колонны раздается это роковое: П-о-л-к! Шагом м-а-а-а-р-ш-ш! Так! Кончилось мирное время, под ногами дорога войны. Запомним число: двадцать восьмое июня!

Женщины начинают в голос плакать и машут нам на прощанье.

Хотелось сказать: не плачьте. Мы скоро вернемся. В наше время войны долго не длятся. Теперь четыре года уже не провоюют.

На первом привале Раннасте курит вместе с нами и говорит, что очень устал. Всю ночь не спал, жена не оставляла в покое: только и знала, что подавай да подавай ей... будто можно это впрок сделать или с собой на дорогу взять...

Конечно, женатым тяжело уходить, а женам тяжело оставаться, только мне не нравятся такие пошлые, интимные разговоры. Кроме того, этот человек какой-то липкий, его панибратство претит. Ребята его тоже почему-то не жалуют. Наверно, поэтому Рууди и выпалил:

- А может, с собой в спичечном коробке дала...

И представьте себе, Раннасте громко хохочет. Что это за шутка. Видно, оба они с женой мало чего стоят.

6

Наверное, это был наш второй ночной привал, у какой-то

реки в Вырумаа. Красивое место с водяной мельницей, потребительской кооперацией, маслобойней и школой.

Только мы сложились на пиво, как в магазин вошел загорелый мужчина средних лет, кепка низко надвинута на глаза, брюки из домотканого сукна засунуты в пыльные сапоги. Он переглянулся с хозяином, это был как бы условный знак. Потом тихонько подошел к прилавку, боком прислонился к нему, тоже заказал бутылку пива и внимательно взглянул на каждого из нас.

- Мальчики, не валяйте дурака, - обратился он к нам, понизив голос, останемся эстонцами, давайте держаться вместе! Что вас ждет в России? Немец в первый же день разобьет вас в пух и прах... Пока есть возможность - идемте в лес! Пошлите-ка вы эту Красную Армию подальше...

Потом, придвинувшись поближе, еще тише продолжал:

- Не бойтесь, там уже есть эстонцы. Слушаем радио: немец самое позднее через неделю будет здесь. С Латвией и с Литвой дело уже в шляпе, шабаш. Сбегите ночью, приходите сюда, к лавке, отведу вас куда надо. Голода не бойтесь...

Это был запрещенный разговор. Строго-настрого запрещенный.

- А если заберут, что тогда? - обронил один из нас в наступившей тишине. - К стенке, не иначе... Неохота так глупо умереть...

- У вас же винтовки на плече... Да и в лесу люди не с голыми руками...

- У нас винтовки пустые, ни одного патрона, - ответил кто-то.

В самом деле, идем на войну, а патронов нам еще не выдали.

- Подумайте, мальчики... Сегодня еще не поздно...

Разумеется, для нас это был вражеский разговор и нам следовало бы сразу же о нем доложить.

Только что ты можешь сказать: жизнь и обстоятельства такие запутанные. О том, что происходит на фронте, ничего не знаешь. Все время говорили, что нас из Эстонии далеко не отправят. Ладно, отправят или не отправят, а только что же здесь назревает? Гражданская война? Кого они ждут там, в лесу? Немца? До чего же это дьявольски трудный вопрос! Всю жизнь только и слышали, что именно он, немец, исторический враг нашего народа. А помните, ребята, что мы делали, когда в июне сорокового года вошла Красная Армия? Снимали тавот с нового оружия. И это были немецкие карабины. Вся эстонская армия должна была перейти на унифицированное вооружение. Только почему именно на немецкое?

Два больших народа, как будто мельничные жернова, а между ними один маленький - как тебе решить? Ну да, за этот год кое-

что сумели переоценить, стали лучше понимать новый строй. Я не из какой-нибудь богатой семьи, я не против того, что дали по рукам разным выскочкам, богачам и серым баронам. К тому же ведь немец напал на нас, а не наоборот. Только вот одно мне, да и многим другим, еще не ясно: что же все-таки будет с нашим народом, с нашим крохотным эстонским народом, который прошел через столько страданий и все-таки до сих пор выдержал и даже сумел свое государство создать? Что его ждет? В газетах пишут, что новый строй обеспечит полное процветание во всех областях. Здорово, если бы так было, и очень хочется верить, что так и будет. Только разве невозможно, чтобы было справедливое государство, а все-таки совсем свое, чтобы не было до него дела ни русским, ни немцам?

Помню, я спорил однажды на эту тему с Сярелем и Кирсипуу. Они говорили, что у меня национализм еще прочно сидит в печенках, хотя я боец армии, на знаменах которой написано: интернационализм и дружба между пролетариями всех стран.

Позже на политзанятиях много раз об этом говорилось, за это время были октябрьские и майские праздники, происходили и выборы, только я, честно говоря, все еще не стал вполне сознательным. Сознательный - это тоже совсем новое слово.

Ладно, как бы там ни было, а в лес я все-таки не пойду. Ведь я с ребятами почти два года пробыл, уже даже поэтому трудно вольным волком исчезнуть в лесу. Именно волком. Там в кустах не ягнята сидят. Можно не сомневаться, там тебе прикажут убивать тех, кто был за советский строй и кого ты вообще даже не знаешь.

Нет, с ними я не пойду. Ни в коем случае, хотя я еще и не вполне сознательный.

Кто он, звавший нас? Сам устраивай свои дела! Я не пойду. Я буду честно воевать.

А два парня из второго дивизиона на следующее утро все-таки исчезли.

Ах да, еще ночью, накануне отправки из Тарту, пропали один сержант-сверхсрочник и один офицер.

7

Рууди, несомненно, самый популярный парень в батарее. Высокий, плечистый, с темными, как щетина, жесткими волосами и, что так характерно для эстонцев, большими ногами. У него было удивительно доброе сердце, но и язык - дай боже, он нередко доставлял Рууди изрядные неприятности. Именно с Рууди, когда он был еще новобранцем, происходили истории, которые потом у нас в части становились своего рода легендами.

Фельдфебель Ярвесалу, тоже крупный дюжий мужчина с

громоподобным голосом, который вечно набрасывался на солдат, застукал однажды Рууди в субботу после обеда на самом наглом отлынивании. Дело было в том, что по субботам в это время учения больше не проводились. Из казармы вытаскивали тюфяки для проветривания, выбивали пыль из одеял, а перед тем как идти в баню, предстояла еще одна муторная работа на много часов - надраивание упряжи. Фельдфебель выстраивал солдат и вел на конюшню, там каждому давали в руку тряпку, и начиналась бесконечная чистка песком всех металлических деталей на седлах, уздечках и постромках. Делать это полагалось старательно и самозабвенно. Чтобы трензеля и стремена, кольца и медные бляхи сияли, как Моисеев лик. После нескольких часов драяния все это хозяйство покрывалось тонким слоем масла и укладывалось туда же, откуда его взяли. Обычно фельдфебель раздавал работу, оставляя за себя старшим командира отделения срочной службы, а сам отправлялся домой. По-своему это занятие было не такое уж плохое, можно про что хочешь разговаривать, и перекур разрешали довольно часто, но вообще-то все это делалось по принципу: солдату без дела быть не положено. Не то душа его может погибнуть. Эти самые бляхи совсем не были ржавыми, и другой раз приходила даже мысль: если круглый год каждую субботу в самом деле тереть их изо всех сил, так железо и медь вовсе сотрутся. Поэтому ребята, да и оставленный старшим сержант или капрал не относились к этому слишком всерьез.

В таких случаях блистал Рууди, у которого был хорошо подвешен язык. История следовала за историей, одна чище другой. Всем было весело, и время шло быстрее.

Рууди родом из северной части Тартумаа. У его отца был исправный и, по-видимому, зажиточный хутор. Только Рууди особого уважения к старику как будто не питал, хотя и считал его настоящим мужчиной. По рассказам Рууди выходило, что и отец его отменный краснобай и бабник.

- Вся волость полна мальчишек, похожих на моего старика, - говорил он не раз, - видать, неспроста.

Сам Рууди тоже был волокитой просто на удивление и, по его словам, имел на этом фронте необыкновенный успех. Нельзя сказать, чтобы он был таким уж красавцем, наверно, это нужно отнести за счет его красноречия и упорного стремления к цели.

И в тот субботний вечер беседой у конюшни овладел Рууди. Один из последних дней октября выдался теплым. Мы сидели в синих парусиновых комбинезонах у стены конюшни и корпели над розданной нам работой. Рууди был в особом ударе.

- Ну, сосед у нас верующий. В доме у него не прекращаются моления. Старушенции тянут песнопения и всхлипывают, сам

старик читает Библию, глаза на мокром месте и борода трясется. Дочка у него - есть на что посмотреть, но близко не подпускает, мол, запрещенное удовольствие. Набожная душа... Как-то раз летом в мякиннике прижал я ее к жилетке, ничего девчонка и целоваться умеет...

И вот однажды этот богобоязненный старец едет из Тарту, а на телеге у него в наклон поставленный огромный железный крест. На всякий случай, чтобы под рукой был, если сам старикан загнется.

Мой старик подпирает грудью ворота и глядит: репникуский Куста из города едет.

- Ну, здравствуй, что это ты из Тарту везешь?

- Здравствуй, здравствуй, - отвечает тот, - видишь, привез из города крест господний, чтобы под рукой был, когда потребуется...

- А может, ты и "прости-господи" из города привез - гляди, - повторяет мой старик, - чтобы под рукой была, когда потребуется...

И тут загремел фельдфебель, прямо как труба в Судный день:

- Новобранец Вахер! Вы что тут зубами чешете! Может, вы забыли, что сейчас рабочее время? Я здесь уже четверть часа стою, ваш язык как помело ходит, а руки не при деле!

Мы все вскочили, стоим по стойке смирно. Рууди прямо перед самым фельдфебелем, никто и не заметил, как тот вынырнул из-за конюшни.

Ярвесалу орет, лицо багровое, руки растопырены по обе стороны шинели. У него вообще была такая манера: когда орал, далеко от себя руки отводил.

- Какого дьявола седло в песке валяется? К потнику песок пристанет, как рашпилем, холку коню сдерет!

Рууди нагнулся, чтобы поднять седло.

- Новобранец Вахер, я не приказывал трогать седло! Стойте смирно! Еще не хватало, ворот расстегнут... грудью кормите, что ли?

Рууди вытянулся. Фельдфебель шагнул к нему, не успел он и рта раскрыть, как Рууди покраснел и что есть мочи заорал:

- Господин фельдфебель, не кричите! У меня в голове все замелькало!

Наступила жуткая тишина. Было отчетливо слышно, как в конюшне за толстой стеной из валунов терлась о стойло лошадь.

Лицо у фельдфебеля Ярвесалу из багрового стало аж фиолетовым, как самая крайняя полоса радуги. Его челюсть по-дурацки отвисла, и он несколько раз глотнул воздух.

Черт подери, он сейчас лопнет!

Нет, фельдфебель Ярвесалу не лопнул. На нем был новый кожаный ремень.

- Смирно! - рявкнул он нам, хотя мы и без того стояли, как соляные столбы.

Он вскинул перед самым носом Рууди правую руку с двумя вытянутыми пальцами, эффектно сделал правый поворот, подошел к нашему старшему, добросердечному капралу Палуотсу, и рявкнул тому:

- Доложите дежурному офицеру!

После чего безмолвно исчез за конюшней.

- Вольно! Продолжать! - скомандовал капрал.

Сидим, ни слова не говорим, молча трем дальше.

На этот раз, думаем, двумя нарядами дело не обойдется. Теперь он проходу не даст Рууди. Это уж точно.

Но мы были плохими психологами. Фельдфебель Ярвесалу хоть и набрасывался на солдат, но сам был трусливый мужичонка. Он боялся придираться к Рууди, чтобы не настроить против себя всю батарею. Это бы ему непрерывно напоминало, как постыдно над ним одержал верх какой-то бойкий на язык новобранец. Пусть все ограничится двумя нарядами - на кухне! И ограничилось. Рууди почистил свою картошку, но его "У меня в голове все замелькало!" стало ходячим выражением, и популярность была Рууди обеспечена на все время службы.

Таков был Рууди, который стал хорошим солдатом и умелым номером орудийного расчета. Тем более странной кажется его дружба с Ильмаром.

Ильмар Роос - парень с тартуской окраины. Его отец и мать были бедные люди, рабочие. Сам он тщедушный, несколько беспомощный мальчик с болезненно бледным лицом и большими выразительными серыми глазами. Служба на батарее давалась ему нелегко. Он боялся лошадей, и они это очень хорошо понимали. Наиболее хитрые устраивали ему фокусы: то не пускали его в стойло, то брыкались. Поднять строевое седло с полной сбруей на высокую лошадь явно стоило ему больших усилий. Орудия его особенно не интересовали, но зато он очень хорошо разбирался в топографии. Характер у Ильмара был на редкость замкнутый и застенчивый. Военная выправка и громкий ответ явно были не по нему.

Сразу после призыва им с Рууди выпало спать рядом. Рууди не переставал его поддевать, особенное удовольствие доставляло ему дразнить Ильмара девушками. Ты, мол, парень городской и лицом пригожий, у тебя их, небось, на каждый палец по девице приходится, донимал Рууди. Не познакомишь меня с какой-нибудь?

Ильмар от таких разговоров заливался краской. Он краснел и тогда, когда Рууди, рассказывая о своих собственных похождениях, иной раз упоминал довольно нескромные подробности. Позже он привык, уже не краснел, но было видно, что ему неловко.

Однажды мать Ильмара пришла в казарму проведать его и принесла большой пирог с капустой. Большую часть этого пирога Ильмар отдал Рууди. С этого времени Рууди делил свои гостинцы только с Ильмаром. Потом они впервые после призыва были уволены в город, и велико же было наше удивление, когда мы позже узнали, что Рууди отправился вовсе не к женщинам, а к Ильмару. Они вместе латали забор и крыли новой крышей сарай.

Внешне между ними все оставалось по-прежнему. Рууди поддразнивал Ильмара и нес всяческую ахинею, а сам оберегал его как ребенка. Однажды, когда они оба несли дежурство по конюшне, огромный, как печь-каменка, артиллерийский конь Салур больно лягнул Ильмара, Рууди привязал строптивой лошади на спину два одеяла и цепью в полном смысле слова измолотил его. Когда по воскресеньям водили выгуливать лошадей, Рууди следил, чтобы Ильмару досталась самая смирная пара. Рууди не был очень силен в письме, поэтому любовные послания своим бесчисленным невестам писал под диктовку Ильмара. Тот тихонько подсказывал, придумывал красивые и нежные слова. Сам при этом пунцовый от смущения.

Это случилось позже, уже в середине зимы.

Дежурный ходил в канцелярию за увольнительными записками. И выяснилось, что Ильмар, который был в списке, оставлен без увольнения.

- Подумаешь, важность, - острил дежурный, - ему же девок не надо, непорочный он.

Ильмар ничего не сказал, но Рууди своей громадной пятерней схватил дежурного за грудь и рявкнул:

- Заткнись! Если ты еще что-нибудь подобное скажешь, мокрое место от тебя останется!

Рууди отказался в тот вечер от увольнительной, хотя Ильмар уговаривал его пойти. Как раз перед тем Рууди говорил ему, что у Ратуши его должна ждать какая-то настоящая донна. Но он не пошел.

Такая непостижимая дружба связывала Рууди и Ильмара, которая, наверно, только им одним и была понятна.

Спустя год, когда мы были уже в Красной Армии и впервые в жизни услышали на политзанятии про острую классовую борьбу, Рууди сказал Ильмару:

- Ну, друг, теперь ты правящий и передовой класс. Что

будешь делать с таким, как я, хозяйским сыном?

- Знаешь, у отца теперь действительно постоянно бывает работа и денег он получает намного больше, - ответил Ильмар, - я против нового строя ничего не имею.

- Это очень хорошо, - сказал Рууди, - только я теперь твой враг.

Ильмар вспыхнул:

- Нет... сегодня ты не враг. Но если захочешь, сможешь им стать.

...Сейчас шагают они передо мной, два усталых бойца, сквозь душную летнюю ночь. Большие сапоги Рууди оставляют на пыльной дороге большие следы, а сапоги Ильмара - маленькие. Куда же ведет эта дорога, куда шагают эти два неразлучных друга, которые, в сущности, должны быть врагами, - не знает никто...

Куда ведут наши следы по этой дьявольски запутанной и пыльной дороге, имя которой история?

8

Первого июля в четыре часа утра мы перешли за Изборском старую границу. По булыжной дороге Рига - Псков. Проволочные заграждения сохранились, пограничник распахнул широкие ворота, и колонна с грохотом вошла в Россию.

Последовала довольно обширная пустая полоса пограничной зоны, где были уничтожены селения. Появились сторожевые вышки и пограничные укрепления фронтальной стороной к Эстонии.

Потом пошли деревни.

Они были нищие и жалкие: скособоченные, запущенные маленькие избы, ни одного плодового дерева, грязный проселок, на нем гогочущие гуси и коровы - кожа да кости. В первой деревне, возникшей перед нами из утреннего марева, на нас с любопытством глядела какая-то старуха в валенках на босу ногу. Молча, тревожным взглядом провожала она нашу колонну: значит, война дойдет и досюда, до наших домишек и хилых полей, казалось, говорил ее взгляд. Что же будет?

На политзанятиях нам рассказывали о победе колхозного строя, о его замечательных успехах. Даже фильм показывали про колхозы, а здесь все говорило об обратном.

Мы чувствовали: где-то что-то не так. Но что именно и почему?

Спросить политрука мы не решались.

Вообще-то нужно сказать, наш политрук Шаныгин был приятный человек и по сравнению с другими более общительный. Но раньше чем говорить о нем, несколько слов про командиров и

политработников, переведенных к нам из Красной Армии.

Прежде всего они производили впечатление людей крайне замкнутых и недоверчивых. Конечно, причина была в языке и абсолютном незнании местных обстоятельств и условий жизни.

Помню первое выступление комиссара нашего полка Добровольского. Он сказал - разумеется, через переводчика, - что Красная Армия - это рабоче-крестьянская армия с сознательной дисциплиной. Она заложена в основе отношений между командирами и бойцами. Отныне командиры не имеют права бить рядовых.

Мы слушали это с большим смущением, потому что мы никогда не слышали и не видели, чтобы офицер поднял руку на солдата. Очевидно, комиссар располагал фактами из царской армии, в которой, как рассказывали наши отцы, действительно офицеры раздавали солдатам оплеухи. Еще того больше была наша растерянность, когда мы услышали, что в Эстонии сразу же приступят к ликвидации неграмотности.

Однако более серьезная неприятность произошла минувшей зимой.

Мы привыкли в своей части к рациону, согласно которому утром полагался суррогатный кофе, разумеется, хлеб и масло, и что-нибудь поплотнее. По понедельникам, например, давали селедку и холодный картофель, по вторникам - свиной студень, по средам - кусок колбасы, затем - ломтик жареного бекона и так далее. Это меню повторялось из недели в неделю. Его придерживались и тогда, когда нас перевели уже в Красную Армию. Но зимой все вдруг изменилось, притом разом, без всякого разъяснения. Однажды утром (и это был к тому же первый день рождества, которое за все время нашей военной службы впервые не считалось праздником!) в столовой ребят ожидала бурда из горохового концентрата и сухари. Повар объяснил, что в соответствии с порядком в Красной Армии сегодня так называемый сухой день, и в дальнейшем вообще по утрам будет суп. Поднялся смутный гул, люди поболтали ложками в тарелках и потребовали кофе. Первая батарея, первой явившаяся в столовую, отказалась от приема пищи. Дежурный ефрейтор Пууст скомандовал:

- Встать! Надеть головные уборы! Выходи строиться!

Батарея в полном составе направилась к полковой лавке, где были куплены колбаса, батоны и молоко.

Об этом сразу же узнал Добровольский и бегом прибежал в столовую. Говорили даже, что с расстегнутой кобурой. Остальным подразделениям в присутствии комиссара непривычный суп как-то все же полез в горло.

Через несколько дней ефрейтора Пууста вывели ночью из казармы. Его личный шкафчик опечатали. Две недели спустя нам огласили приговор трибунала: парень понес очень суровое наказание за антисоветскую деятельность и открытое сопротивление... Это уже было дело нешуточное. Такой жестокости мы никак не могли понять. Ну хоть сказал бы этот самый комиссар заранее несколько слов: мол, ребята, теперь нужно привыкать к другой еде. Господи, да ведь во всей Эстонии никто по утрам супа не ест, откуда нам было знать, что в Красной Армии кормят именно так и что кофе совсем не дают.

Многих из нас вызывали в связи с супной "историей", все мы, как умели, говорили в пользу Пууста, но это не помогло. Только политрук Шаныгин поверил нам, он ходил по этому поводу к комиссару, но вернулся от него сникший. Очевидно, против Пууста были еще какие-то другие обстоятельства, о которых мы не знали. Пошли настойчивые слухи, что на него кто-то донес. Мы начали осторожнее высказывать наши суждения, а Шаныгина больше уважать. Он вообще был человеком более широких взглядов и более восприимчивый. С самого начала Шаныгин смекнул, что многие вещи, которые всем в Союзе были известны, нам казались непонятными, и он старался их разъяснить. Он упорно стремился вжиться в склад нашего мышления, часто расспрашивал о домашних обстоятельствах и делал удивительные успехи в эстонском языке, в то время, как другие знали только три эстонских слова: здравствуй, черт и слушай. Поэтому он был нам ближе, чем кто-либо другой из приехавших оттуда людей. Со строевыми командирами по крайней мере внешне дело ладилось лучше, потому что среди наших старых офицеров были и довольно свободно говорившие по-русски.

И на этот раз именно Шаныгин понял смысл наших растерянных взглядов...

- Да, многие колхозы еще не стали на ноги... Мало техники, да и земля здесь тоже не из лучших...

Бедность прямо смотрела на нас, хотя землю нельзя было считать такой уж плохой. Правда, и раньше, еще зимой, он нам разъяснял, что с едой и одеждой есть пока трудности, потому что все силы в первую очередь направлены на развитие тяжелой промышленности. От нее зависит и обороноспособность.

Значит, этой огромной стране приходится вести войну, прежде чем она успела наладить свою экономику.

Способна ли она в таких условиях воевать? Разве смогут такие колхозы прокормить рабочих, армию и самих себя? А если смогут, то ценою каких усилий?

Так мы думали, шагая по Псковщине.

- А есть где-нибудь колхозы получше? - спросил кто-то из ребят на ломаном русском языке.

- Разумеется, - заверил Шаныгин. - Есть богатые колхозы. Когда-нибудь все колхозы станут богатыми.

Хотя этот ответ нас несколько успокоил, все же на первом привале Эрих Мытсъярв, толстый парень из Вырумаа, сказал:

- Готов съесть колесо от пушки, если здесь, в этой стране, мы не наголодаемся!

Ночью этот человек пропал.

Говорили, будто он спрятался под брезентом в кузове грузовика, на котором ночью начпрод капитан Рулли зачем-то поехал обратно в Тарту.

Короче говоря, дал тягу.

Сложное это дело, политвоспитание.

Но Рулли вернулся из Тарту невредимым. Когда он ехал из Печор в Псков, произошла такая история: у дороги отдыхали немцы, винтовки в пирамиде. Рулли при его близорукости понял это, только когда машина уже поравнялась с немцами.

- Газ давай! - закричал он водителю.

К счастью, и немцы очухались, когда грузовик уже пронесся. Грохнули выстрелы, но мимо.

Рулли вернулся незадолго до первого большого сражения. Так. Значит, Печоры, где когда-то формировался наш полк, были теперь у немцев. Конечно, и Выру, и красивая старая мыза неподалеку от него, где мы, будучи новобранцами, пролили немало пота... Очередь, наверно, за тобой, Тарту, наши Афины на Эмайыги... [Эмайыги ("мать-река") - название крупнейшей реки Эстонии; Тарту известен своим университетом (осн. в 1632 г.)] Скоро ты загоришься, милый, славный город...

Чертова война!

Но мы начнем воевать здесь. Будем защищать тебя, Псковская земля, твои нищие деревни, как и твои сыновья, которые, может быть, умирают сейчас где-нибудь под Вынну, Ранну или Конгутой.

9

Вечернее солнце медленно клонилось за нашими спинами, косыми лучами оно освещало открывавшуюся впереди панораму, полную такого бесконечного идиллического покоя.

Деревня, к которой подошла колонна, была расположена вдоль хребта отлогого берега. Внизу, в неглубоком овраге, извивалась в неисчислимых излучинах речка, в которой сверкало заходящее солнце и отражалось безоблачное небо. Над поймой уже сгущался туман. На невысоких холмах возвышались дремавшие березовые рощи, вершины деревьев в золотой пыли заходящего солнца. Потоки мягкой и теплой тишины, которую

нарушали только голоса нашей колонны и доносившиеся с поймы восклицания косарей, торопившихся поставить последние стога. Картина мирного времени - как больно сжимается сердце!

Рууди стоял рядом со мной, но он увидел нечто совсем другое.

- Бабы что надо! Потом нужно будет прогуляться.

Он думал про тех, что метали стога на лугу, и правда, среди них были грудастые молодые женщины.

Орудия и обоз свернули с деревенского проселка в густые заросли, а ребятам было разрешено ночевать в избах.

Походные кухни задымили.

Наступила ночь, прямо парное молоко.

Почему мне так знакома красота пейзажей Псковщины? Я никогда здесь не бывал, никогда не видел эти пологие холмы, задумчивые березы, извилистые реки! Ах, да, вспомнил: это пейзажи из фильма "Юность поэта", единственный советский фильм, который я видел еще школьником и который поразил меня глубоким лиризмом. В этом фильме участвовал и пейзаж, бескрайний простор огромной земли и пленяющая своей естественной красотой природа.

Все безмолвствует.

Только если остро-остро прислушаться, с запада время от времени доносится глухой гул.

Там в своих железных сапогах шагает война. Наверно, она скоро дойдет и сюда, до этих пушкинских лугов, березовых рощ и куполов...

Рано утром кто-то громко постучал в окно и назвал хозяйку по имени. Она сказала, что это бригадир: должно быть, как мы поняли, какой-то колхозный начальник, потому что он посылал людей на сенокос.

В душной избе началось движение, встали и мы.

- Удивительно, - качал головой капитан Ранд, - не сегодня завтра война будет здесь, а народ заготовляет сено... Начхоз пытался вчера проехать в Псков, но город бомбили. А они идут на сенокос. Не косы и грабли должны бы быть у них в руках, а лопаты и кирки, чтобы рыть окопы. Армии нужно помочь, немца нужно остановить, черт подери...

- Товарищ капитан, наверно, здесь чье-то распоряжение сверху, которое не положено критиковать, - вмешался старшина батареи, сверхсрочник Раннасте. - Может быть, отправляя людей косить, хотят предотвратить панику?

- Какая, к дьяволу, паника, - отрезал капитан, - каждую пядь земли нужно защищать на войне! Что же, лучше потом в панике драпать?

Капитан махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел.

Трудно сказать, кто прав. Только это не наше дело, куда прикажут, туда и пойдем.

10

Мы сидели на траве перед избой и курили в ожидании утренней баланды. Лошади были напоены-накормлены и запряжены.

К нам подошли старик и старуха, наверно, хозяева этой избы. Они принесли нам большую глиняную миску студня. Насколько мы смогли их понять, они зарезали своего единственного теленка, чтобы он не попал немцам в котел, и угощают теперь нас, совершенно им незнакомых солдат, которые не остаются их защищать, а только и знают: что отступают на восток...

Молча ели мы студень, этот от души сделанный подарок, и молча смотрели на нас старики. Старуха вытирала подолом передника глаза, вздыхала и что-то говорила, правда, больше себе, чем нам. Понявшие перевели: бедненькие, нет у вас больше дома... сказала она про нас.

Очень виноватыми мы себя чувствовали, когда, выходя из ворот, благодарили стариков, а они крестили нас и провожали на улицу. Ты можешь быть бедной. Псковская земля, но люди твои щедры душой!

11

Над рекой висит дымка, роса садится на землю: будет жаркий и ясный день. Дай бог, чтобы в этом чистом небе самолеты не стали преследовать нашу колонну!

Полк подивизионно тянется обратно на дорогу. Кончился деревенский проселок. Мы уже привыкли видеть эти вытянутые в ряд деревни, в которых избы окнами обращены на дорогу.

А Рууди все еще нет. Куда этот жук подевался? Выяснилось, что никто не видел, куда он вечером отправился спать. Удрал? Нет, этого быть не может.

Мы у последней избы. Здесь дома аккуратно пронумерованы и указана фамилия хозяина. Кроме того, на каждом доме есть табличка с изображением того предмета, с которым семья должна бежать на пожар. И" крайней в деревне избы, принадлежащей Кузнецову, на пожар, как свидетельствовало изображение, нужно было нести с собой багор.

У калитки дома с багром и стоял Рууди. При этом не один. Он сердечно прощался с крепкой, пышногрудой молодой женщиной.

- Ну конечно... - пробурчал Ильмар.

Рууди встал в строй, но еще долго оглядывался назад и махал, пока за поворотом дороги и излучиной реки не исчезла

деревня.

- Как же ее зовут? - полюбопытствовал Сярель.

- Масенька или Маса, - ответил Рууди с сильным эстонским акцентом.

Последовал целый ряд весьма нескромных вопросов, но Рудди шел будто во сне: все зубоскальство отскакивало от него, как от брони.

- Бросьте, ребята, не было у нас ничего. Муж на войне, двое малышей, больной отец кряхтит на печке... Эх, дьявол, вот это женщина, впервые в жизни такую вижу. Шапку долой перед ней!

- Может, сперва штаны? - позлорадствовал обычно миролюбивый Касук.

- Заткнись, не то получишь! - в голосе Рууди прозвучала нешуточная угроза.

Шагая по колее проселка, тихо и серьезно рассказывал Рууди свою историю с Машенькой.

Действительно, Рууди заприметил в деревне эту милую женщину и на своем ломаном русском языке и в обычной веселой манере сделал неуклюжую попытку подкатиться к ней. И, к великому его смущению, молодая женщина сразу пригласила его в избу. В воображении Рууди уже забрезжила первая легкая победа над русской красавицей. Однако его, как дорогого гостя, усадили за стол, предложили топленого молока и вареной картошки с соленой плотвой. Другой еды в доме, видимо, не было. За столом сидели и дети Машеньки мальчик (он-то, вероятно, и был рыбак) и девочка, оба еще дошкольники, во все глаза с невероятным уважением смотрели они на настоящего солдата и его карабин. На печке тяжело дышал больной астмой старик. Машин отец.

Они проговорили всю короткую летнюю ночь.

Неделю назад Маша проводила на войну мужа, колхозного бригадира. С красными заплаканными глазами она тихо корила Рууди за то, что мы идем на восток. Неужто это правда, что немец через несколько дней придет сюда? Что же будет?

И правда, что же будет? - задумался Рууди. Красивая молодая женщина, а в деревне пруд пруди заносчивых победителей, на которых нет ни закона, ни суда. Не может быть, чтобы они Машу не тронули. От возмущения у Рууди кровь прилила к щекам. Впервые он странным образом почувствовал свою личную ответственность за эту женщину, которая спросила его, что будет, если он, сильный воин, все время идет на восток.

А дети? Больной старик? Наверняка за немцами по пятам в деревню, придет голод. Сама-то еще прожила бы, а дети и старик?

Черной бедой и слезами была полна изба Кузнецовых. Да и

не только их изба. Вся деревня. И не только эта деревня, вся Россия. Да-да, и не только Россия, но и оставшаяся далеко позади крошечная Эстония. Остро отзывалось доброе сердце Рууди на великое горе, которому он ничем не мог помочь. Маша твердо верила, что немца рано или поздно - но разобьют. Только ведь и это еще не конец, потому что слезы люди будут проливать еще долгие годы, оплакивать погибших. Непоправима и огромна беда, которая называется войной.

- Чертов Гитлер, - искренне выругался Рууди, может быть, в первый раз с такой, идущей из самой глубины души, злостью, именно здесь, в русской избе с бревенчатыми стенами.

И тут Маша поразила Рууди еще одной, совершенно для него неожиданной новостью.

Женщина как-то таинственно намекнула, что они все будут воевать. Правда, об этом еще нельзя говорить, но это решено: партия организует партизанскую борьбу. Уйдут в леса и начнут вредить немцу. Наверняка партия все устроит, и детей и старика куда-нибудь спрячут. Она была уверена, что все это серьезно обосновано.

Партия сделает и организует, услышал Рууди. Не совсем ясной казалась ему эта мысль, но то, что великая народная война скоро вспыхнет за спиной у немцев, было просто потрясающе и окрылило Рууди.

Он смотрел на Машу с уважением и нескрываемым восхищением. Простая деревенская женщина, придавленная горем, а гляди, не сдается, немцу горло готова перегрызть.

А ведь таких женщин в России могут быть тысячи. И они есть, несомненно, не говоря уже о мужчинах. И от этого на душе у Рууди стало как будто легче, когда он прощался с Машенькой возле калитки.

Такое приключение пережил Рууди в ту прекрасную июльскую ночь.

А сейчас он спал на ходу, спотыкаясь и наталкиваясь на спины товарищей.

12

Как ни странно, но командует нашим полком теперь капитан. Капитан Соболев, а начальником штаба полка - всего лишь старший лейтенант. Дело в том, что незадолго до начала войны в Москву на какие-то курсы были вызваны командиры полков и начальники полковых штабов, командиры дивизий и начальники штабов дивизий вплоть до корпуса, а заместители автоматически стали теперь командирами. В старой армии капитан обычно командовал батареей. Ну, да это пустое, солдату более или менее все равно, кто в полку главный. Только странно как-то видеть на

месте полковника всего лишь капитана.

Соболев, кажется, настоящий мужчина: спокойный, хладнокровный. По-видимому, в трудные минуты держит себя в руках. Это по лицу видно: если что не так, сразу кровью наливается, но он не орет, а только как бы про себя, понизив голос, начинает материться. Прежде у него такой привычки не было. Первое изменение, вызванное войной.

Ребята из обоза-рассказывали, что у начальника хозяйственной части, майора Лаанемяэ, очень требовательного офицера, прошлым летом, как раз в дни летнего солнцестояния, были тяжелые переживания. Он считал, что офицеров сразу начнут ставить к стенке, и просил своих ребят, если такое случится, чтобы его расстреляли солдаты из какой-нибудь другой части. Если расстреливать станут свои, ему, мол, будет очень тяжело. Он ведь к своим обозным относился хорошо, хотя и строго взыскивал за непорядок. В армии иначе нельзя. Лаанемяэ этого разговора не завел бы, если бы слегка не выпил, все по той же причине. Ребята между собой поговорили и решили, что не пойдут доносить на своего начальника, чтобы его поставили к стенке. Начали вспоминать и пришли к выводу, что хоть майор и резок на язык, но все же человек справедливый. Короче говоря, его успокоили. Сейчас на марше майор подвижен как ртуть, бегает кругом, хлопочет и все носом фыркает, эта манера у него и раньше была. Он и в мирное время мало спал, а теперь, наверно, и вовсе без сна обходится.

Старший лейтенант Рандалу, командир батареи, рассказал нам однажды вечером историю про то, как его принимали в офицерское собрание. При каждом гарнизоне имелось офицерское собрание соответственно роду оружия, и у каждого собрания было свое правление, распорядитель, суд чести и тому подобное. Разумеется, у казино с буфетом, в котором барменом был солдат. Я один раз заходил в казино: полковник забыл в штабе ключи от квартиры, относил ему. Наш старик в одной рубашке играл на бильярде с каким-то капитаном, очевидно, на пиво, потому что маленький столик рядом с бильярдом был заставлен бутылками. Ну ладно. Рандалу начал службу в гарнизоне молодым офицером, и теперь на повестке дня стоял его прием в офицерское собрание артиллеристов. Офицеры сидели за празднично накрытым столом, распорядитель собрания майор Кириллов (в гражданскую войну под Псковом он вместе с батареей перешел к белоэстонцам и, плохо ли, хорошо ли, говорил по-эстонски) представил Рандалу. Дальше должно было последовать испытание: принимаемый, стоявший у торца стола, обязан выпить "полковника", то есть чайный стакан водки, затем

на четвереньках проползти под столом, и на другом его конце, если мне не изменяет память, ему полагалось осушить второго "полковника". После такого возлияния нужно было суметь пройти не покачнувшись. Только тогда офицера объявляли членом собрания.

Рандалу, который родился в бедной крестьянской усадьбе, впроголодь учился в гимназии, потом с отличием окончил военное училище и, еще будучи кадетом, обратил на себя внимание как хороший наездник-спортсмен, от такого испытания отказался. Он сказал:

- Господин майор, господа офицеры, этого я делать не буду. Для меня, как офицера республики, неприемлемо выполнение отживших, оскорбительных традиций царской армии. А водку я пью, когда мне хочется и столько, сколько мне хочется.

Разразился настоящий скандал, однако большинство офицеров все же оказалось на его стороне, и Рандалу был первый молодой офицер, которого освободили от этого унизительного ритуала.

Вряд ли когда-нибудь в другое время мы услышали бы эти истории, но война нас всех одинаково заставляла спать в лесу, хлебать баланду из одного котла и вместе обсуждать темы, неизвестно откуда вдруг возникавшие.

- А где майор Кириллов сейчас? - спросили мы.

Выяснилось, что в армии он уже не служит. Работает в Тарту строительным десятником, ребята его видели.

(Но я никогда уже не узнал, что Кириллов вступил в Эстонский легион фашистской армии и был убит в этой войне случайным снарядом нашей артиллерии.)

13

Сегодня после обеда мы стреляли по свиньям.

Мы оказались в довольно крупном государственном имении. Это совхоз. В нем никого не было, не считая нескольких стариков и старух. Стадо, очевидно, угнали, а свиней выпустили в лес. Красивый высокий сосновый бор ими кишел. Выходит, что свиньям война принесла свободу. Но ей, свободе, почти всегда приносились в жертву жизни. Так было и на этот раз: вскоре в лесу стали раздаваться выстрелы. Чуть ли не каждый орудийный расчет подстрелил себе хавронью. Оставшиеся в живых с хрюканьем удрали поглубже в лес.

Смешно было после этой стрельбы смотреть на нашу походную колонну. Не только на передках орудий, но и на поднятых сошниках растянулись хорошенькие розовые хрюшки. На первом же привале для приема пищи вся посуда у поваров была занята здоровыми кусками свинины. И каждый брал, что

ему нравилось. Плохо только, что у нас было маловато соли и хлеба.

Пресное мясо в наших животах, привыкших к скудной пище, скоро начало урчать и требовать выхода. К счастью, этот пир во время чумы кончился довольно быстро, потому что от непосоленного мяса уже на следующий день пошло зловоние, и мы опять вернулись к нашей повседневной солдатской бурде, которая быстро восстановила нормальное пищеварение.

14

Утром мы пришли в какое-то селение, кучно расположенное на восточном берегу небольшой реки. Через реку был перекинут довольно новый с виду мост, справа от него находилась базарная площадь с прилавками и фанерными будками, выкрашенными в голубой цвет. Торговля шла полным ходом: продавали мясо, ягоды, грибы, овощи - все то, что всегда продается на базаре.

- Коли мир, так мир, - решил Рууди и выудил из кармана брюк губную гармонику. Одним прыжком он оказался на обозной повозке, бросил карабин рядом с собой на поклажу, удобно перекинул ноги через задок и продул гармонику.

Потом он минутку подумал, по его дочерна загоревшему лицу пробежала знакомая усмешка. Так, песня выбрана. Над сутолочной площадью понеслась залихватская мелодия: Рууди играл, насколько хватало легких. Мало того. Эта мелодия была на слова, которые Рууди не мог не спеть. И над суетой рынка зазвучала берущая за душу эстонская песенка:

Эх, жизнь моя пропащая, день-деньской я пьян.

Жена моя гулящая, сын мой хулиган.

Паузы между куплетами сопровождались гармоникой. Разумеется, у Рууди не было жены, тем более гулящей, еще того меньше хулиганящих детей. Но жизнь была пропащая! Еще пуще, чем у человека, когда-то сочинившего эту мрачную песню.

Поэтому, наверно, ребята не очень-то смеялись, хотя черный юмор сольного номера Рууди во многом противоречил обстоятельствам настоящего момента.

У народа на рынке Рууди снискал огромный успех. Правда, наша колонна уже и раньше привлекала некоторое внимание, а лихое выступление Рууди тем более сделало нас объектом всеобщего интереса. Посыпались всевозможные вопросы: откуда мы идем, дрались ли уже с немцами, кто мы такие?

- Мый - эстонски топрувольтсы! - крикнул Рууди с телеги. - Мый немтса не поимсья! - Он и сам удивился своему блестящему знанию русского языка. Но тут, разглядев в толпе интересующихся "эстонскими добровольцами" пышных деревенских красавиц, он уже не смог противостоять своему

природному тщеславию и с жаром заиграл вальс:

За любовь ты не требуй оплата?

и денег чужих не ищи,

но найди себе чистое сердце,

с которым лишь смерть разлучит.

Полк растянулся по селению, свернул направо и в прибрежных густых зарослях ивы развернулся по дивизионам. Это было хорошее место: песчаный берег, сухой и пологий, можно было купаться, поить лошадей, и для кухни вода под рукой. Через полчаса батареи, повозки и кони были так надежно спрятаны в кустах, что воздушная разведка противника не могла бы ничего обнаружить. Предусмотрительность оказалась не напрасной: после обеда одна немецкая "рама" пролетела над поселком, правда, довольно высоко.

До ночи марш не предвиделся, приказано всем отдыхать. Спросили у командира разрешения сходить в селение. В сущности, это была идея Ильмара. Он заметил на одном доме вывеску фотографа, и ему очень хотелось сняться.

Выяснилось, что Ильмар не ошибся: в поселке на самом деле имелось фотоателье, которое работало. Мы хотели получить моментальный снимок, только никто из нас не знал, как это будет по-русски. Все-таки мы сумели объяснить наше желание предупредительному и понятливому старику и довольно скоро получили еще мокрые фотографии: три молодых, лихо расставивших ноги артиллериста - я, Ильмар и Рууди.

Предложили старикану деньги, но он не взял.

- Фронтовикам бесплатно, - сказал он, поклонившись нам. С благодарностью мы пожали ему руку.

- Ну, видите, разве плохая была мысль, - сказал Ильмар, выйдя из помещения и на ярком солнце разглядывая фотографии, - приятно будет потом дома показать...

Дома?.. Будет ли? И когда?..

Ну и что, конечно, будет приятно показать.

15

Переехали мост.

Его бомбили с воздуха: по обеим сторонам огромные воронки, но сам мост остался цел. Спокойно и медленно текла извилистая река. У первой опоры лежали два трупа в синих хлопчатобумажных комбинезонах, один лежал на спине, другой - вниз лицом. Наверно, саперы, убитые во время бомбежки.

Первые увиденные нами трупы.

Очень тихо двигалась по мосту колонна.

16

Мы прибыли на место, и теперь нам не до шуток, это всем

стало ясно.

Три дня мы занимали позиции: батарея и наблюдательные пункты окапывались, тянули линии связи.

Фронт, который раньше неясно гудел далеко на западе, совсем быстро нагнал нас. Вчера вечером на северо-востоке грохотало уже зловеще близко. Будь у нас хоть сколько-нибудь привычное ухо, мы могли бы перед рассветом в общем грохоте различить по временам громыхание танков. Немецкие разведывательные бипланы почти весь день были в воздухе. К счастью, штурмовики все-таки не появились.

Ночь прошла довольно беспокойно. Многие не спали, потому что те несколько километров, что отделяют нас от пехоты на передовой, это же такое небольшое расстояние.

- Но ведь непосредственно перед нами еще тихо, - утешал кто-то.

- Это ничего не значит, - отвечали ему, - гляди, пройдет там, правее, и появится с тыла, тогда что ты скажешь?

Действительно, это можно было допустить, потому что, как мы думали, там, на северо-востоке, сейчас ближе всего и сильнее всего грохотало.

Однако все же было ясно: ночью ничего не произойдет, так как мало-помалу все стало затихать.

Ну, а если от самого страшного, что может случиться и о чем никто не решается говорить вслух, тебя отделяет только короткая летняя белая ночь?

В кустарнике прятались на позиции передки орудий, почти сразу за ними у проселочной дороги стояла пушка-супница - наша кухня.

И вдруг оттуда, из темноты, донесся приглушенный разговор и стук котелков.

- Ребята, с передовой пришло несколько русских, - запыхавшись, сказал Ийзоп, который ходил за кипятком, - говорят, их полк разбили.

- Как это могло быть, - удивился Сярель, - каким же образом они вдруг оказались у нашей кухни?

Любопытство погнало нас взглянуть на них.

Это были смертельно усталые пехотинцы. Явно ребята срочной службы, а не мобилизованные. Просоленные потом, разодранные о сучки гимнастерки, кирзовые сапоги, добела исцарапанные осокой, пыльные лица, воспаленные глаза. Наш повар налил им оставшийся от ужина суп. Они ели молча и жадно, по-видимому, не чувствуя никакого вкуса. Один из них, худенький, светловолосый мальчик, был ранен в руку. Кровь пропитала бинты. Он пил жижу от супа из котелка через край, и

взгляд его немигающих глаз был где-то далеко. Горячий суп стекал по подбородку на гимнастерку, но он этого не замечал. Котелок был уже пустой, но паренек все еще наклонял его. Вдруг очнулся, вытер рукой пушок вокруг рта и рухнул на мокрую от росы траву. Мгновение, и он уже спал.

Офицера с ними не было, только сержант.

Ребята расспрашивали, как они сюда попали, откуда шли, если оказались позади наших батарей.

Они и сами не знали. Продирались сквозь лесную чащу, шли по болотам, без компаса, единственный ориентир - солнце и оставшийся за спиной грохот боя.

Больше они уже не смогли. Четыре дня назад был разбит их полк. Все эти четыре дня они отступали с боями, теряя товарищей. Ничего не ели, только иногда спали.

Четырнадцать человек - все, что осталось от их роты. Командовал ротой сержант.

Незаметно подошел наш комиссар полка.

Сержант вытянулся и отдал честь.

- Какая часть? Почему оставили фронт? - строго спросил комиссар Добровольский.

Сержант назвал часть. Приказ отступать дал командир батальона. Это было позавчера. Потом никто никакого приказа не давал, потому что командир батальона был убит, погиб командир роты, убили и командиров взводов... Он сам приказал остаткам роты пробиваться к своим...

- Вам известен приказ командующего фронтом: ни шагу назад! Почему вы его не выполнили? - бушевал комиссар.

- Товарищ комиссар полка, - сержант ответил очень тихо, но твердо, - я выполнил приказ погибшего командира батальона... У нас против танков только винтовки, а с ними ничего не сделаешь.

По распоряжению комиссара двое наших ребят повели их в штаб дивизии. Туда было километров пятнадцать. Как они, совершенно обессиленные, дойдут туда? Раненый белокурый солдатик, бедняга, спал на ходу... Он, наверно, даже и не просыпался...

Ночью через наши позиции прошло еще несколько групп, остатки разбитых передовых частей.

Посмотрим, что-то принесет нам будущее!

Хорошего мы не ждем.

(Я не знал, что в этот мглистый вечер из ржаного поля недалеко от Выру вышла красивая молодая девушка, а за нею, застегивая брюки, немецкий пехотный ефрейтор. Тот, кто взглянул бы на девушку поближе, вспомнил бы, что видел ее за прилавком в тартуском магазине на улице Тяхе. С ней кое-кто из

нас пытался заигрывать. Она заблаговременно приехала сюда к родственникам и... выходит, военная любовь может взорваться не хуже фугаски...)

17

Если не сегодня, так завтра уж обязательно начнется. Все так считают. Бой грохочет совсем близко.

Я лежу в тени штабной палатки, во рту у меня настоящая папироса "Ахто", мне дал ее писарь. Я связной, и делать мне нечего. В таких случаях солдат всегда лежит. Есть еда - так ест. Есть курево - курит. Если ни того, ни другого, так спит. Я собрался сперва покурить, потом покемарить, потому что есть мне было нечего.

Докурил папиросу, сдвинул пилотку на нос, подложил руки под голову и...

Нет, никакого выстрела не последовало. Сквозь тонкую ткань палатки до меня донесся следующий диалог:

- Ну, что ты думаешь?

- Что тут думать, целыми вряд ли мы отсюда выберемся...

Я узнал говоривших по голосам. Это были переведенный к нам из береговой обороны майор Муст и старый артиллерист капитан Ранд.

- Да, едва ли... Корпус растянут вдоль огромного участка фронта. Пехота не в силах достаточно его прикрывать. Оружие устаревшее, личный состав - с бору по сосенке. Немец всыплет нам по первое число. Наших танков не видно нигде, а он свои наверняка пригонит.

- Если взглянуть трезво, так это похоже на самоубийство.

- Почти.

Пауза.

Потом заговорил майор Муст:

- К тому же эта неуверенность... Ты ведь понимаешь... За неделю до начала войны вызвали ночью пять офицеров в штаб дивизии, ни один не вернулся. Контрреволюция! Но никто, по существу, не знает, в чем их вина. Может быть, завтра наша очередь?

- Кхм... Ну, этого я все же не думаю. Нас ведь хорошо просеяли. Впрочем, да... впрочем, уверенным быть нельзя, все мы в одинаковой мере офицеры прежней армии, - отвечает капитан.

- Что же нам делать? - испуганно бубнит майор.

- Что нам делать? Воевать. Приказ есть приказ, - говорит капитан Ранд весьма решительно.

- Есть, конечно, и другой путь, понимаешь...

- Дьявол его знает... Пусть каждый поступает, как считает нужным.

Кто-то вошел в палатку и кашлянул. Может, вошел немного раньше и теперь кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание.

- Простите, капитана Рулли здесь нет?

Судя по голосу, это был старшина Раннасте.

- Нет, - ответил ему капитан Ранд.

- Ну так что же, товарищи офицеры, - попытался старшина продолжить разговор, - теперь уже начнется?

- Начнется. И еще как! Смотри, чтобы люди у тебя были накормлены и лошади резвые, - бросил ему капитан Ранд.

- Точно так, товарищ капитан!

Молчание.

Раннасте, видимо, ушел.

18

Этот день наступил, и он пережит.

И он был ужасен.

Первой батареи у нас больше нет... Вернее, есть то немногое, что от нее осталось: два командира, три сержанта и десяток рядовых. И ни одного ствола.

Я в бою не участвовал, в качестве связного сопровождал второго помощника начальника штаба полка в штаб дивизии.

Пробыли мы там почему-то полдня, а когда возвращались, все уже кончилось. Навстречу нам по лесу шли отступающие батареи. Бой был жестоким, это мы поняли еще в дивизии.

Короче говоря, первая батарея была придана пехотному полку против танков. Вместе с орудиями пехоты она должна была создать противотанковый узел дивизии, преградить немецким танкам доступ на большую, мощенную булыжником дорогу.

Позиция была выгодная: слева от дороги батарея укрыта деревенскими огородами, маскировкой служили кусты и плетень. Но сама деревня и ее огороды располагались на довольно крутом склоне оврага. Большая дорога, которую должны были перекрыть наши старые трехдюймовки, спускалась в овраг, по мосту шла через речку, затем снова поднималась вверх по заметно более пологому склону и исчезала за холмом, чтобы в конце концов спуститься в низину.

Позиция в самом деле была выгодная: танки не могли атаковать нас в лоб, берег был крутой, вдобавок впереди река. Им пришлось бы прежде спуститься с противоположного берега и перейти реку через мост или где-нибудь вброд. Нельзя дать им пройти: если бы им удалось прорваться по дороге к деревне, все было бы кончено, они превратили бы нас вместе с колхозными огородами и кустами крыжовника в сплошное месиво.

Однако мост, черт бы его подрал, был цел, потому что впереди находились еще наши пехотные части и танки.

...Стало заниматься чудесное июльское утро.

Солнце всходило за нашими спинами, на огородах лежала тень. Остро пахло всем тем, чем всегда пахнут огороды: влажной землей, крапивой, свежепритоптанной травой и стеблями хрена. Не пел ни один петух, не лаяла ни одна собака, деревня была пуста.

Снизу из лощины поднимались космы тумана.

Солнце начало согревать противоположный склон. Ускоренным шагом спустилась по нему поредевшая пехотная колонна, несколько дней назад это могла быть рота. Однако у нее был "максим".

Так, значит, скоро начнется.

Будет первое серьезное сражение.

Быстро приближается рокот моторов. Командир батареи, переведенный к нам из бывшего бронепоездного полка, богатырского роста старший лейтенант Касванд, прячась за плетнем, подносит к глазам бинокль. Расчеты перестают шевелиться и застывают возле своих орудий.

- Свои...

Наши танки отходят назад.

Значит, немец идет с такими силами, что нашим шести-семи танкам нет смысла идти на самоубийство. Они стремительно движутся по дороге вверх по склону и исчезают. Один, очевидно, сильно поврежден, припадая на одну сторону, он долго ползает перед мостом, пока наконец не заваливается в придорожную канаву, угрожающе выставив орудийный ствол в нашу сторону. Экипаж выскакивает из люков, люди подтягиваются и забираются на передний танк.

- Вот дьявол, чего они так спешат, - ворчит командир огневого взвода лейтенант Вийрсалу, - шли бы сюда, к нам на помощь, схоронились бы здесь где-нибудь, у них, поди, и бронебойные снаряды есть...

Но кто знает, какой они получили приказ. Танки скрываются в направлении тыла, только пыль стоит столбом.

- Мост следовало бы взорвать, - дает кто-то мудрый совет.

Следовало бы, конечно, но кто даст такой приказ? А вдруг впереди есть еще наши части или боевая техника? Да и чем ты взорвешь?

- Слушай, опять грохочет!

Тревога ожидания у людей притупилась, первое напряжение миновало. Может быть, это опять наши отступающие танки?

Нет.

Это - они.

К противоположному склону подходит первый танк с

крестом. Он несколько замедляет движение, будто разведчик, поднимающий руку к глазам, и с минуту изучает открывающуюся перед ним местность.

Потом, лязгая, спускается в овраг, сверкает струей из огнемета и поджигает наш оставленный в канаве танк.

Так. Значит, грянуло.

Уже дается команда открыть огонь.

Первое орудие первой батареи делает свой первый выстрел в этой войне. Снаряд пролетает над танком и разрывается на берегу. Дымящаяся гильза падает на мокрую от росы грядку, новый снаряд дослан в казенник. Затем грохает вторая пушка - и танк подбит, немец вертится с развороченной гусеницей и медленно сползает в канаву.

Но в овраг спускаются все новые бронированные машины. Пронзительное тявканье трехдюймовок закладывает уши, гарь и пыль скрывают дорогу. То здесь, то там взметается густой черный дым и желто-красные языки пламени.

Теперь уже никто не подает команду, командиры орудий и наводчики сами стараются прямой наводкой бить по танкам, подошедшим ближе других. Танков у них больше, чем у нас пушек, и вдобавок нередко два наших орудия пытаются поразить одну и ту же тварь с крестом.

Вот первый танк вползает на мост, его встречает огонь пехотной батареи.

Дьяволы, они слишком быстро для нас движутся! Русские пушки времен первой мировой войны сделаны не как противотанковые - не поворачивая лафета, ствол можно сдвинуть всего на несколько градусов. Подъем и поворот сошника берет время. Но это необходимо. Ребята пыхтят, обливаются, потом. Возбуждение, горький запах пороховой гари, оглушающие выстрелы, омерзительный грозный грохот и чудовищно стучащая кровь в висках - от всего этого человек становится каким-то странным существом. Быть может, даже бессмысленным существом, пока не приучается убивать и быть убиваемым.

Однако неизбежное произошло. Батарея обнаружена. Снаряды танковых пушек со свистом пролетают над головой и разрываются, к счастью, в деревне. Но сыплются первые мины, появляется следовавшая за танками пехота и вступает в действие на противоположном склоне. Сейчас прямой наводкой они нам дадут.

Это конец. Начальники, можете снять нашу батарею со всех видов довольствия! С такими превосходящими силами нам не справиться.

Тем не менее старший лейтенант Касванд все-таки еще

разбирается в обстановке. Он что-то кричит командиру первого орудия и над изгородью указывает новую цель - батарею минометчиков на том склоне.

Только это его последняя команда. Раздается заложивший уши разрыв мины, и когда дым рассеивается, нет больше ни командира батареи, ни первого орудия... Мина угодила прямо позади сошника и разворотила верхнюю часть щита. Правое колесо торчит спицами кверху... Расчета больше нет... Наводчик рухнул поперек лафета, потная гимнастерка превратилась в кровавую кашу, возле разбитого колеса ничком ткнулся замковый. Чуть подальше распласталось огромное тело старшего лейтенанта Касванда, левая рука на груди, в руке бинокль...

- Ребята, спасайся, кто может! - раздается чей-то истошный вопль, и расчеты второго и третьего орудий бегут через огороды к обсаженной деревьями дороге, к ржаному полю, надеясь там спастись.

- Ни с места! - кричит лейтенант Вийрсалу. - Танки прошли...

Никто уже его не слушает.

В самом деле, танки грохочут теперь далеко справа. Деревня горит.

На позицию батареи обрушивается точный и густой огневой удар. Сплошной лавиной рвутся мины. Взлетают трухлявая изгородь, комья земли, картофельная ботва. Воют осколки и барабанят по орудиям, трещат срезаемые кусты.

Потом наступает тишина.

Батареи нет.

...Из-под куста крыжовника поднимается лейтенант Вийрсалу и с любопытством оглядывает себя. Цел!

Машинально отряхивает свои офицерские брюки из материи в рубчик, ищет глазами фуражку, которой нигде не видно. От взрывной волны он оглох, ошалел. Так. Револьвер на поясе, планшет на месте.

Потом еще кто-то становится на четвереньки. Это командир орудия, младший сержант Пяртельпоэг. Тоже оглушенный, весь в земле и навозе, и тоже невредимый.

Пошатываясь, они направляются к ржаному полю. Они не решаются оглянуться назад, на разбитую батарею, их контуженый мозг не в силах допустить, что другие умерли, а они живы.

И тут им пришлось еще раз увидеть нечто ужасное.

Между дорогой, обсаженной деревьями, и деревней был небольшой овраг, в нем, одна на другой, две орудийные упряжки - двенадцать разорванных снарядами лошадей в постромках и под седлами. То ли накрыло минами, то ли танки заметили с дороги, кто знает. Над гроздьями синеватых кишок уже жужжали синие мухи.

Но что это?

В деревне одно орудие еще стреляет!

Выстрел.

Не прошло и минуты - второй.

Третий.

Так ведь это же наша четвертая пушка! Она еще стреляет! Батарея еще жива!

Вийрсалу и Пяртельпоэг останавливаются посреди ржаного поля. В оглушенном Вийрсалу снова заговорил профессиональный военный.

- Черт подери, Пяртельпоэг, пошли обратно?

Обратно они не идут, они присаживаются во ржи, чтобы отдышаться.

Каждый мысленно спрашивает себя: кто же он, этот сумасшедший?

А произошло вот что.

Четвертое орудие батареи стояло немного позади, как раз у крайних домов деревни, так что прямой наводкой могло простреливать дорогу. Орудие было хорошо замаскировано плетнем и наломанными утром молодыми березками, еще не успевшими увянуть.

По приказу командира батареи эта пушка должна была стрелять по танкам, которые прорвутся. Офицеров там не было,

вместо них - лучший в батарее командир орудия, младший сержант Олев Лайсаар.

Когда появилась первая группа танков, орудие дало два удачных выстрела, и один из танков задымил у околицы.

Когда бой разгорелся особенно жарко, самый лучший в батарее командир орудия обнаружил, что остался вдвоем с наводчиком... Произошло нечто совсем непредвиденное - ребята просто удрали! Орудийный расчет был у него, конечно, ненадежный: только он сам да наводчик были старого призыва, остальные номера расчета - те славные мальчики, которых только весной привезли в полк. С ними было трудно, потому что они не знали эстонского языка, ногами и руками приходилось им объяснять, что такое пушка. Ах да, один был даже из пополнения, полученного полком в Тарту, так что он вообще не проходил обучения. Когда первый эшелон танков с диким грохотом стал приближаться к деревне, у ребят просто не выдержали нервы. А тут еще прибавился огонь этих проклятых минометов, - лежат сейчас, наверно, где-нибудь на животе, уткнувшись носом в землю.

Вдвоем они не решились стрелять по прорвавшейся в деревню танковой лавине, бежать в кусты не допускала вколоченная за два года дисциплина. И кроме того, ведь там, впереди, ребята сражаются.

Наводчик и командир орудия присели за щитом и с пересохшим горлом стали ждать, что будет.

Все обошлось. Прорвавшиеся танки не заметили хорошо замаскированного орудия и, не останавливаясь, прогрохотали мимо.

- Что будем делать? Дадим тягу? - прошептал наводчик.

Тут последовал тот огневой удар, который уничтожил или подавил остатки батареи. Мины упали позади них, и осколком сильно ранило наводчика в левую руку. Лайсаар ловко перевязал ему рану индивидуальным пакетом и приказал, прячась во ржи, пробираться к своим.

Снизу из оврага с ревом ползли новые танки.

- Олев, драпай отсюда! - сказал наводчик.

- Сам уноси ноги, нечего тебе здесь делать! - взревел явно нервничавший командир орудия. - Я сейчас тоже уйду. На всякий случай забери свою невесту, - имел он в виду карабин.

И тут Лайсаар, совершенно один, дал те три выстрела, которые слышали Вийрсалу и Пяртельпоэг.

Лайсаара особенно злило, что здесь, среди молодых берез, он, по-видимому, один и совершенно беспомощен.

Оставляй теперь, за здорово живешь, _свою_ пушку. Два года

тебя, шельму, начищали. Сколько часов, дней, недель надоедной тренировки, и все - ради двух настоящих боевых выстрелов. Из Тарту не знаю за сколько километров тащили тебя сюда. По проселкам и болотам толкали тебя, помогая лошадям, тянули за постромки. И все ради этих двух выстрелов.

Нет, старушка, спокойно, мы еще немного повоюем. Зададим перцу. Мне ведь, голубушка, непременно придется тебя покинуть.

Был бы приказ отступать - подошла бы упряжка. Одно из двух: либо в нее угодило, либо там, впереди, уже нет того, кто бы дал приказ... Итак, получайте на прощанье...

Дадим первый. Огонь!

Младший сержант Лайсаар, объявляю благодарность от лица командования. Ты на самом деле лучший командир орудия в батарее. Танк задымил!

Скорей, скорей, скорей, открыть затвор, вогнать новую ягодку. Готово. Слава богу, ствол почти вдоль дороги, не нужно поворачивать лафет, одному не сдюжить.

Ну, ребята, с богом, грохнем второй раз!

Огонь!

Младший сержант Лайсаар, благодарю за службу! Второму танку хана!

Олев, тебе самое время уносить ноги! Эта шутка может скверно кончиться. Тебе не удастся здесь, за кулисой, вечно оставаться незамеченным. Будь мужчиной, бери ноги в руки!

Спокойно, моя голубушка, сейчас я тебя покину! Последний выстрел... и тут же сразу испарюсь.

Спокойно, Олев, спокойно. Ну, дадим третий.

- Четвертое! Огонь! - будто на полигоне кричит Лайсаар и хватается за шнур.

Огонь!

Вот дьявол, на этот раз промазал, только в каком-то другом смысле, наверно, стрелял не зря.

Олев Лайсаар гладит рукой разогретый, покрашенный серой краской ствол, снимает прицел, швыряет в кусты, резко поворачивается и со всех ног бросается наутек.

Вийрсалу и Пяртельпоэг видят, как по горящей деревне к деревьям у дороги бежит боец. Но они видят и как оттуда, по склону от огородов, где только что были три наших орудия, карабкается цепь немецкой пехоты. Там заметили бегущего и застрекотали автоматные очереди, защелкали карабины. Бегущий падает, цепь движется дальше.

- Кто бы это мог быть? - спрашивает Вийрсалу.

- Кто его знает, - отвечает Пяртельпоэг, - наверно, кто-нибудь из четвертого расчета.

У них нет времени обсуждать. Пригнувшись, они бегут по деревенскому проселку между ржаными полями, спрыгивают в канаву, где их прикрывает рожь и уже можно бежать во весь рост. Не останавливаясь, они достигают леса. Переводят дыхание, приходят в себя.

- Так. Теперь нам надо круче брать вправо. Километра еще четыре, и должны бы быть в дивизионе.

Позади все тихо.

- Наверно, взяли в плен или расстреляли, - рассуждает Вийрсалу. - Кто бы это мог быть? Не Лайсаар ли?

- Кто знает. Вполне может быть.

Через час они в дивизионе. Дивизион готов к маршу. Приказано идти на новые позиции.

В первой батарее теперь полтора десятка человек и ни одного ствола. Уцелевших распределили по другим подразделениям. К нам пришли Вийрсалу и Пяртельпоэг. Кто убит, кто невредимым или раненым попал к немцам - этого никто точно не знал.

Только о тех, кого Вийрсалу и Пяртельпоэг сами видели мертвыми, о тех известно, их имена войдут в завтрашнее донесение в полк.

Остальные пропали без вести.

Насколько помнится, первое сражение называют боевым крещением.

Ну, что говорить, это торжество помнят крестные сыны, оставшиеся в живых!

(Я никогда не узнал, что Олев Лайсаар, лучший в батарее наводчик, был взят в плен вместе с еще несколькими ребятами и двумя ранеными командирами своей батареи. В октябре его, как и многих других из Псковского лагеря военнопленных, отпустили домой. Позже, чтобы избежать вербовки в немецкую армию, он бежал в Финляндию, но попал в 200-й пехотный полк. Младший сержант Олев Лайсаар погиб на Карельском перешейке от снаряда трехдюймовой полевой пушки, с которой он сам так хорошо умел управляться.)

19

Вчера ночью еще до первого сражения из второй батареи исчезли старшина, младший сержант-сверхсрочник и вместе с ним еще трое парней. Известно куда - перешли, в плен сдались. Непонятным образом из штаба полка бесследно исчез и майор Муст. И без слов понятно, что всем нам, оставшимся, и нашему полку в целом славы это не прибавило.

Сперва я не понял, почему Сярель с таким волнением спросил:

- А Кирсипуу все-таки не удрал?

Почему он это спросил? Ефрейтор Кирсипуу был одним из лучших наводчиков в полку, отличник политучебы, комсомолец. С чего бы он стал переходить?

- Ты что, не видишь, что на нем лица нет? Никогда веселого слова не скажет, ходит и все делает будто во сне. Даже осунулся...

Нет, я ничего особенного за Кирсипуу не заметил. У каждого достаточно своих дел, а война всех изменила - сделала серьезными.

Когда мы с Сярелем остались одни, я узнал от него, что произошло с Кирсипуу.

За день до начала войны он получил письмо, в котором сообщалось, что всех его близких увезли в Россию: уже пожилых родителей и старшего брата с семьей. Написали соседи. Они считают, что такая жестокая кара последовала потому, что брат его был командиром взвода в одном из отрядов Кайтселийта - союза обороны Эстонии.

Для Рауля Кирсипуу это было непостижимо, необъяснимо, совершенно за пределами его понимания. Прежде всего сам образ действия: просто увозят, без расследования и суда.

Он, человек со средним образованием, ни о чем подобном никогда в жизни даже не слышал.

И разве участие в Кайтселийте было уж таким страшным преступлением, что за него приходится расплачиваться лагерем? Правда, Кайтселийт была организация антисоветская, антикоммунистическая, но она ведь еще в прошлом году сдала оружие и была распущена. Брат же не боролся против советского строя с оружием в руках, это совершенно очевидно. Так почему? Почему?

Сначала Кирсипуу держал эту страшную новость про себя и только через несколько дней решился поделиться ею с Сярелем. С первого дня службы они всегда были вместе, служили в одной батарее, в одном взводе. По примеру Сяреля и Кирсипуу вступил в комсомол.

- Но ведь твой брат мог поднять руку на советскую власть... Именно теперь, когда война... Он был _потенциальный_ враг... Помнишь, как в Вырумаа и наших ребят хотели завербовать лесные братья... - пытался объяснить случившееся Сярель, потрясенный несчастьем друга.

- Да, но где это слыхано, чтобы карали за воровство до того, как его совершили? И как же так? Просто увезли ночью, без суда, без ничего... говорил Кирсипуу с мокрыми от слез глазами и спрашивал, что же ему делать.

Этого Сярель сказать не мог, потому что и самому себе не мог этого объяснить.

- Но ведь я комсомолец... Может быть, я должен выйти из комсомола? Или доложить комиссару? Я не знаю, что мне делать, потому что я просто не понимаю...

- Не будем сейчас ничего предпринимать, - тихо ответил Сярель, посмотрим, подумаем... Тут, наверно, серьезная ошибка допущена...

- Ошибка, ошибка, - передразнил Кирсипуу, - даже если не считать брата, так все равно остается пять ни в чем не виноватых людей...

Сперва это было непонятно. Правда, за неделю до войны и в полку было арестовано несколько офицеров, только это как будто другое дело. Тут могли быть серьезные причины, кто знает этих старых кадровых офицеров. Кроме того, никого из ребят лично это не затронуло, здесь же - совсем другое дело.

Рауль Кирсипуу парень исключительно честный, и в комсомол он вступил честно, потому что в первый советский год пришел к твердому убеждению, что это справедливый строй, неизменно стоящий на стороне таких, как он, работяг. Сам он не был рабочим, как, скажем, Карл Сярель или Ильмар Роос, парни с тартуской окраины, но с малых лет он помогал выполнять тяжелую крестьянскую работу и повидал немало лиха, особенно во время кризиса, когда не было денег, а это совпало с учением в гимназии. Тогда ему помогал старший брат - из того немногого, что сам имел. Кирсипуу очень хотелось поступить в университет, но он хорошо понимал, что это невозможно. А сейчас новый строй открыл перед ним двери университета.

Можно понять, каким ударом было для него это ужасное письмо и что ему пришлось передумать, прежде чем решить, как ему поступить дальше и чем все объяснить, чтобы снова обрести равновесие. Он чувствовал, что у него вроде бы нет полного права быть по эту сторону, если он не умеет объяснить себе, что случившееся до конца справедливо. Но он же не мог согласиться с тем, что это справедливо, этого он никак не мог. Если бы он признал, это значило бы, что он сам помог выгнать из дому отца и брата с семьей...

- Ну да... Я об этом нигде не говорил, тут сразу война началась, рассуждал теперь Сярель. - Может быть, все-таки следовало сказать... Но я боялся, чтобы это не бросило на него тень... Дьявол его знает...

Не знаешь, что и сказать. Просто непонятно. Место Кирсипуу наверняка здесь, да, здесь его место гораздо в большей степени, чем, скажем, лейтенанта Вийрсалу. Нет, ничего дурного про этого командира сказать нельзя: он воюет хорошо и отважно. Больше того, он воюет с радостью и охотой. Только вот, наверно, он с

таким же удовольствием воевал бы и в бывшей эстонской армии, воевал бы в американском, французском или турецком мундире, главное - воевать... Потому что война и армия - его призвание, и никакие убеждения, связывающие руки, ему не нужны. Можно допустить, что он даже счастлив.

Как же тяжело тем, у кого есть убеждения!

То было жестокое отчаяние, мучительное разочарование, и Кирсипуу, сжав зубы, переживал их.

- После этого письма он просто был не в себе, - вспоминал Сярель. - В последнюю субботнюю ночь в Северном лагере, в ночь на то воскресенье, когда началась война... Он вышел из палатки, обхватил руками сосну и стал грызть кору, а у самого из глаз текут слезы...

Однако Кирсипуу не перебежал, хотя у него было бы для этого больше оснований, чем у некоторых других. Он остался, надеясь в душе, что все же увидит победу справедливости. Именно эта надежда, наверно, и вернула ему равновесие. Только как же в таком состоянии идти в бой!

Каждый раз, когда я потом видел Кирсипуу, вдвойне серьезного и вдвойне усталого, я испытывал не столько сочувствие, сколько глубокое к нему уважение. Потому что, наверно, легче победить врага, чем самого себя.

Неизбежность вращения огромного колеса истории объяснять просто, но когда ты сам песчинка под этим колесом...

(Я никогда не узнал, что Рауль Кирсипуу окончил войну со скромными сержантскими погонами на плечах и скромными солдатскими медалями на груди. Два раза его хотели послать в военное училище, но он категорически отказывался, потому что ему было бы трудно заполнить анкету.

В 1946 году он поступил в университет, учился и жил на одну только стипендию. Окончив университет, он поехал куда-то в сельскую школу, говорили, там появился очень хороший учитель литературы.

Он не ошибся в том, что победит справедливость: его мать и семья брата были реабилитированы и вернулись, но отец и брат вернуться уже не смогли.

Иногда он делится в школе военными воспоминаниями, только, наверно, без особого удовольствия: раны, ведь долго кровоточат.

В шестидесятые годы Кирсипуу вступил в партию.)

20

Голова колонны застряла в пробке, последовала вынужденная остановка, которая могла продлиться неведомо сколько. Особой опасности не было, потому что погода стояла облачная, в воздухе

парило, наверно, предвещая грозу. В такую самолеты не летают. Мы расположились у реки, где был брод, и в эту удушливую жару сразу потянуло в воду. Я завел своего Ветра на середину реки и стал обливать его водой. Могу поклясться, что от удовольствия Ветер смеялся. Я и сам искупался и должен сказать, что впервые за это лето испытал приятное чувство.

Купались в основном солдаты и строевые командиры. Когда же в воду вошли фельдшер Маркус и капитан Рулли, двое ужасно волосатых мужчин, покрытых первый черной, а второй - рыжеватой шерстью, я поверил, что в этой речушке нет водяных. Не то бы они с воплями удрали из нее в заросли ивы и ольхи.

21

Жара немилосердная. На небе ни одного белого клочка, солнце палит нещадно. Наши гимнастерки давно уже спеклись от пота, а сегодня пот течет даже по ногам в сапоги.

Ужасно было бы в такую погоду умереть: яркое солнце, зеленеющие, пахнущие сеном холмы, подальше, в знойном мареве, дремлют леса... Все цветет, наливается, начинает созревать, как всегда в середине лета. Но война и смерть не считаются со светлой, зовущей к жизни погодой.

Сегодня день прошел благополучно, немецкие самолеты, видимо, заняты где-то в другом месте, их не видно. Только высоко-высоко густо прут тяжелые бомбардировщики на восток и обратно, но на передовой они не опасны. Да и на земле сравнительно спокойно: пехота впереди держит фронт, ясно слышна деловая трескотня "максима", реже слышится винтовочная стрельба. Передовая отсюда недалеко, может, километра полтора. Батарея отделена от нее болотистыми лугами, поросшими ивняком, далее тянется столь характерный для этих мест ольшаник, на краю которого и находится наше сегодняшнее пристанище. Далеко на востоке сквозь дымку виднеется большой хвойный лес.

Сегодня мы нанесли три огневых удара по карте. Один пришелся по перекрестку села, второй - по участку леса напротив нас и последний - по лесистому пригорку, расположенному левее от него, где, по данным пехоты, должен находиться какой-то наблюдательный или командный пункт. Едва ли огонь мог быть особенно точным, потому что и наша собственная позиция не была топографически точно привязана по карте, и данные для стрельбы никак не откорректированы наблюдательными пунктами. Все делалось на глазок, по принципу: эх, была не была. В ответ получили оттуда несколько неточных мин.

Ждем обеденного перерыва.

Как ни странно, но он действительно существует и выдуман

не нами. Дело в том, что немцы воюют по часам, будто они прежние аккуратные ремесленники: фронт просыпается с восходом солнца, с часу до двух затишье, то есть обед, и вечером работа продолжается до захода солнца. В этой регулярности, честно говоря, есть что-то жуткое: война превращена в организованный труд, как на фабрике или на помещичьих угодьях. Убийство стало повседневным ремеслом.

Нам этого никак не понять. Если обратиться к истории, то ни о чем подобном ни читать, ни слышать не приходилось. Правда, история и прежде знала профессиональных военных и платных наемников, бывали и армии с твердым распорядком. Только маловероятно, чтобы фаланги Александра Македонского, легионы Цезаря или орды хана Батыя воевали по расписанию: с такого-то до такого-то часа убиваем, потом делаем часовой перерыв, после чего принимаемся снова. Наоборот: смутно помнится, что в Библии один иудейский полководец кричал солнцу, чтобы оно не двигалось с места до тех пор, пока он не разделается с врагами. Или, скажем, чем кончилось бы сражение под Цесисом [город в Северной Латвии, где весной 1919 г. эстонская армия в ожесточенных боях уничтожила немецкую дивизию], если бы наши солдаты, когда дрались с ландесвером, соблюдали обеденный перерыв? Да и вообще: регулярность и распорядок дня при убийствах - это уж нечто совсем бесчеловечное. Война сама по себе - с начала и до конца бесчеловечна, противоестественна, противна человеческой природе, и уж совсем чудовищно превращать ее во что-то повседневное, обыденное, регулярное. Убийство стало профессией с твердым и регулярным рабочим днем...

Хотя мы никогда между собой на эту тему не говорили, все мы относимся к этому одинаково. Нередко мы пытались нарушить этот ремесленнический распорядок дня: иногда мы наносили огневой удар во время обеда, случалось - и ночью.

А все же мы ждем наступления обеденного перерыва у немцев. Просто потому, что нет большой опасности и можно заниматься делами, которые предпринимать в другое время гораздо рискованнее.

Но сегодня в обеденный перерыв произошла совсем непонятная история. Ожидаемая тишина наступила, ко она закончилась несколько раньше установленного времени. Справа от нас, в густом ольховнике, вдруг раздался грохот сражения, застрочили пулеметы и автоматы, забахали минные разрывы, зазвучали слова команды. Инстинктивно мы схватились за оружие, у нас была одна мысль: противник прорвал фронт и пытается взять нас в кольцо, потому что в следующую минуту

возник грохот боя и слева.

- Ребята, странное дело, ведь ни одна пула не просвистела и не щелкнула по дереву, - вдруг заметил Ильмар. Мы прислушались: в самом деле, такой тарарам стоит, а не слышно, чтобы летела пуля или осколок мины, и заросли не трещат от пулеметных очередей или минных разрывов.

Мы бросились к орудиям. И там обратили внимание на это странное обстоятельство. Командир батареи уже доложил в полк. Выяснилось, что пехотная часть, которую мы поддерживаем, никак не может разобраться, в чем дело, и занимает, как говорится, выжидательную позицию.

- Ребята, придется выслать разведку, что-то здесь не так, - сказал подошедший к нам лейтенант Вийрсалу. - Пехота сделает то же самое. Пойдем прямо на шум.

С лейтенантом Вийрсалу отправились три человека.

Тут ожил и немецкий фронт впереди. Явственно зашелестели мины и, насколько удалось в этом шуме разобраться, впереди застрочили автоматы. Слева и справа, судя по грохоту, сражение продолжалось с прежней силой, не приближаясь и не удаляясь.

Прошло с полчаса, и на правом фланге все смолкло. Сколь внезапно сражение началось, столь же внезапно оно и прекратилось. Чуть позже смолкло и слева, только впереди шел довольно ожесточенный бой.

Командир батареи дал новые установки для стрельбы, и наши старые трехдюймовки принялись за дело: стали обстреливать немецкие позиции прямо по фронту.

Среди этого грохота вернулся лейтенант Вийрсалу со своими ребятами, и теперь между ними весьма неохотно шагал долговязый, белобрысый немецкий унтер в очках. Рууди первым увидел пленного.

- Kuuten morjen, навозный берлинский соловей. Vii jeets? [Доброе утро... как поживаешь? (искаженный немецкий язык)] - крикнул он немцу.

- На этот раз ты как нельзя больше прав, - ответил лейтенант Вийрсалу, - он действительно соловей.

Тут все выяснилось. На ничейную землю, наверняка еще ночью, по слабо охраняемому болоту каким-то образом выполз этот самый унтер с мощным громкоговорителем, оттуда и загрохотала усиленная звукозапись битвы. Немчура так был занят своим шумовым приспособлением, что взять его оказалось совсем легко. Они просто прыгнули ему на спину и скрутили так, что он и охнуть не успел. И в момент обезоружили.

План у немцев был простой. Звуковые установки на флангах должны были создать иллюзию прорыва, а сами они в это время

атакуют в лоб. В создавшейся панике их настоящая атака обещала быть успешной. Но затея провалилась: шумовые машины устранены, а лобовая атака после примерно часового сопротивления была удачно отбита.

Пленный немец явно очень растерялся, двигался как лунатик. Конечно, оснований, чтобы струхнуть, у него имелось больше чем достаточно. Прежде всего, разумеется: как же так, почему русские дураки, эти невежественные азиаты, не обратились сразу в бегство, когда он в твердо установленное время включил свой громкоговоритель? Во-вторых, никак не мог себе простить, что он, студент Иенского университета, так легко дал взять себя в плен мужланами, которые разговаривают какими-то непонятными варварскими идиомами и сейчас, раскрыв пасть, явно над ним глумятся. И надо же было этому случиться теперь, когда Россия уже растоптана, до Москвы и Ленинграда рукой подать! Но больше всего его поражало, что эта в порошок размолотая армия еще не осознает своего безнадежного положения: поглядеть только - солдат заправляется супом и с аппетитом уминает при этом хлеб, тот самый головорез, который на таком странном немецком языке крикнул ему нелепое приветствие, а сейчас что-то объясняет другим, и те корчатся от смеха. Плакать им, дуракам, надо!

Батарея грохнула из всех своих орудий, стоявших в нескольких десятках метров отсюда. Выстрел трехдюймовки, как известно, весьма звучный и хорошо продувает непривычные уши. Бедненький немец, который, поди, никогда пушки близко и в глаза не видел, да и вообще в теперешнем своем положении, как успел заметить Рууди, походил на только что выхолощенного барана, невольно плюхнулся наземь.

Тут уж насмешки посыпались градом:

- Уведите его поскорее, такой страх большей частью через задницу выходит, а мы к немецкой вони не привыкли.

Вконец ополоумевшего пленного немца повели к комиссару полка и оттуда дальше - в дивизию.

Лейтенанта Вийрсалу, который ходил теперь козырем, грудь колесом, и всех троих бывших с ним в разведке в тот же день представили к медалям. Если пройдет, они будут в полку первыми.

Вот чем окончился обеденный перерыв в тот жаркий день, когда уже и в сапогах хлюпало от пота.

22

Теперь много чтения нам сбрасывают с неба. Бросаем и мы и они. Бывает, вся дорога просто устлана листовками. На немецком, разумеется, - наши, на русском - изготовленные немцами. И в тех

и в других призывают кончать войну и переходить к противнику, сдаваться в плен. У немцев так прямо написано в конце, что листовка служит пропуском сразу для десятерых.

Нужно сказать, что и те и другие листовки дают основание для обсуждения и размышлений. В одной нашей отпечатаны объявления из какой-то немецкой газеты, она сплошь состоит из траурных извещений о погибших на Восточном фронте, и ее сопровождает весьма убедительный комментарий: такая судьба может постичь любого немецкого солдата. Разумеется, так оно и есть. В другой листовке - нашей - приведены выдержки из неотправленных писем убитых немецких солдат к близким, где говорится, что бои тяжелые. Тоже верно. Эту страну не только завоевать, но даже просто пройти ее пороху не хватит. И хотя сейчас мы еще плохо сопротивляемся, однако для немцев асе равно это отнюдь не прогулка.

Но одна немецкая листовка нас просто потрясла. На ней большая фотография, и в центре, окруженный немецкими офицерами, сидит наш офицер. Как сообщает текст, это будто бы взятый в плен сын Сталина.

Обсудили с ребятами и пришли к выводу, что все это галиматья и чистая пропаганда. Во-первых, есть ли вообще у Сталина сын, этого никто из нас наверняка не знает. Во-вторых, разве сына такого выдающегося человека пустят в столь опасное место, где он может попасть в плен? И даже если так, то войны это еще не решает. Нынче не так, как бывало прежде, когда один король воевал с другим, и если одного королевского сына брали в плен, то можно было и войну кончать. Так мы думали...

А Сярель очень правильно заметил:

- Если это правда, значит, у товарища Сталина, помимо всего остального, еще и большое личное горе, как у любого отца.

В самом деле, если это правда, значит, не миновала война и дома самого руководителя государства. Горе и сюда пришло, не спросив разрешения. Но в общем-то, как уже сказано, мы не особенно этому верили.

23

Боже мой, как давно это было! Будто в прошлом веке! А на самом деле всего лишь минувшей весной.

Учебная батарея идет на обед. Грохаем по булыжнику, звеня шпорами, и громко поем:

Артиллеристом я родился,
под сенью пушки вырастал,
огнем картечи я крестился,
когда в бою врага встречал.
Когда пехоте будет трудно

и нас на помощь позовут,
тогда тяжелые шрапнели
врага на части разорвут.

Всегда полным голосом, в конце каждой строки всегда пауза в два шага, после каждого куплета - в четыре, начало и конец - точно вместе, из всех глоток одновременно.

И у самой столовой:

Последний путь на этом свете.
Труба прощально протрубит,
мой гроб увозят на лафете,
три раза пушка прогремит.

Только совсем все не так, все совсем по-другому! Рейна и Ропса нет в строю, их укрыла красная глина в России, Антса, беднягу, так изрешетило, что трудно сказать, что от него осталось в земле, а что - на поверхности. Не везут нас на тот свет на лафете под грохот медных труб.

Я так привык, что на строевой подготовке Ропс всегда стоял от меня слева, потому что был чуть-чуть пониже. Теперь он не стоит, а мне все еще кажется, что он здесь.

Так идут рядом с нами те, кого уже нет. Это второй, невидимый строй. Сколько нас сегодня, завтра, послезавтра станет в тот немой строй?

И если оставшаяся в живых колонна когда-нибудь зашагает к дому, будете ли вы все еще рядом с нами? Как долго вы будете сопровождать уцелевших? Не всю ли их жизнь?

24

Капитан Рулли до такой степени своеобразная фигура, что с первого взгляда запоминался на всю жизнь: менее воинственного офицера невозможно придумать. Рулли был маленького роста, сутулый, с весьма заметным брюшком, с которого то и дело сползал ремень; у него были рыжеватые жидкие волосы, веснушки, очки и ноги колесом На его широком лице неизменно блуждала детская улыбка.

Это внешность. За всем этим скрывался честный, беззаветно преданный долгу и просто по-детски добросердечный человек. Но за внешним простодушием таилась достаточная доля хитрости, это был образованный и умный офицер. Не знаю, как долго он был строевым, еще до войны мы знали его как начальника склада боеприпасов. Кстати, в жаркие летние дни, когда он возился с зарядными ящиками, на голове у него вместо форменной фуражки бывала какая-то белая шапочка с большим козырьком!

К нашему удивлению, этот отнюдь не спортивного вида старик - для нас пятидесятилетний человек был стариком - каждое утро занимался гимнастикой. Правда, он выполнял только

простые упражнения: приседания, вращение рук, наклоны, делал это с медвежьей ловкостью, но неукоснительно каждое утро. Это была система, и, наряду с усмешкой, она вызывала уважение.

В полку капитан Рулли стал начальником продовольственного и фуражного снабжения. Это человек, который отвечает за то, чтобы личному составу и лошадям было что есть. Теоретически, конечно, совсем просто: каждое утро штаб полка составляет дневной отчет, так называемую строевую записку. В ней все сказано: столько-то командиров, сержантов, рядовых. Столько-то обозных, орудийных и верховых лошадей. Для всех установлены казенные нормы (кроме воды): столько-то хлеба, жиров, круп, столько-то овса. Перемножь цифры и потребуй соответственное количество на тыловом складе.

Да. Но ведь идет война. Утром полк здесь, но никто из нас, включая и командира, не знает, где он будет вечером. Армейские склады и полевые хлебопекарни движутся где-то в тылу, прячутся в лесах, их начальники тоже не знают, где они будут вечером или на следующее утро. Это не все. Отправляясь за довольствием, всегда рассчитывай, что можешь стать объектом внимания немецких самолетов. Кроме того, ты движешься по дорогам не один, нередко оказываешься под ногами у большого обоза, особенно возле мостов, где часто возникают пробки, и опять - опасность с воздуха. И это еще не все: малопригодные транспортные средства - только пароконные телеги с изрядно загнанными лошадьми. Был, правда, один грузовик, но его забрали в дивизию. А дороги - больше выпадает дней, когда тащиться приходится по топям и перелескам; но и это еще не все: часто приезжаешь на склад, накладные в порядке, даже оформление не заняло бы много времени, а на складе ничего нет. На ближайшей тыловой станции разбомбили вагоны с продовольствием или угодило в самый склад...

А боец хочет есть. Он ничего не знает о трудностях со снабжением, да и не его это дело - знать.

Несмотря на это, у нас редко выпадали дни без хлеба, а чтобы вообще нечего было есть, такого у нас не случалось.

Совершенно неожиданным образом мы с капитаном Рулли вместе попали... в плен!

Эта история произошла в поселке, неподалеку от которого остановился наш отступающий полк.

Втроем с ребятами мы пошли бродить по селению, зашли подальше, и перед нами оказалась лавка, где продавали растаявшие от жары шоколадные конфеты и какой-то лиловый напиток, называемый морсом. Купили и попробовали и то и другое. Еще в магазине мы заметили, что за нами внимательно

следят два пограничника. Едва мы сделали несколько шагов, направляясь обратно в расположение полка, как эти пограничники, входившие теперь в заградительный отряд, объявили, что мы арестованы. Нас отвели на какой-то задний двор, где уже находились три наших офицера, и в их числе - капитан Руули. У нас отобрали оружие и потребовали красноармейские книжки. А нам их и не выдавали, разумеется, весьма подозрительное обстоятельство (у офицеров удостоверения личности имелись, их отобрали). После чего всех нас посадили в кузов полуторки, в каждом углу которой восседал пограничник с десятизарядной винтовкой, и мы поехали. Не помогли заверения офицеров, что здесь же на окраине, в ивняке, на берегу реки, стоит наш полк.

Честно говоря, мы действительно могли вызывать подозрение. На некоторых из нас были еще прежние армейские брюки солдатского сукна, на всех крепкие юфтевые сапоги со шпорами, совсем другие ремни и патронташи, но что главное - мы говорили на чужом языке. Может быть, совсем уж за немцев нас не приняли, но сильно заподозрили, что собираемся дезертировать.

Дорога была такая немыслимая, что лязгали зубы. Разговаривать между собой нам запретили. Капитан Рулли посмеивался про себя, он был уверен, что недоразумение сразу выяснится. Его задержали на какой-то боковой улице, когда он подошел к пограничнику и спросил, не знает ли тот, где находится провиантский склад армии. Какой-то бестолковый офицер в странном мундире, хотя и свободно, но с акцентом говорящий по-русски, интересуется местонахождением армейских складов, - его сразу же обезоружили.

Мы протряслись километров двадцать, пока нам навстречу не попалась такая же полуторка. В ней, между ящиками с боеприпасами, сидел офицер, на петлицах у которого поблескивали четыре шпалы. Увидев нас, он сразу же постучал по крыше кабины. Машина остановилась. Жестом он остановил и нашу.

- Куда вы везете моих людей? - отнюдь не дружелюбно закричал он на конвойного офицера, сидевшего в кабине нашего грузовика.

- Подозрительные эстонцы, везем в Дно, в наш штаб, товарищ полковник, ответил тот.

- То есть как подозрительные? Я этих командиров знаю. Что вы делаете! Ни с того ни с сего увозите немногих уцелевших в моем артиллерийском полку людей! Их же разыскивают, вы дезорганизуете действия войсковой части! Вам что, неизвестно,

что этот участок фронта удерживают эстонцы? Вы что, в самом деле их раньше не видели?

Мы слушали, навострив уши. Это был полковник Никифоров, начальник штаба дивизии.

- Немедленно разворачивайтесь и везите людей обратно! - скомандовал он.

- Я не могу выполнить вашего приказа, - ответил командир пограничной охраны, - потому что я вам не подчиняюсь. Должен согласно приказу препроводить их в свой штаб.

- Безобразие! - сказал полковник. - Хорошо, я позвоню вашему начальнику, - потом, обращаясь к нам: - И сообщу в полк.

Машина ушла.

И мы поехали, только в противоположном направлении.

Лица у конвоиров несколько вытянулись. Вот тебе и бдительность! А нам будто маслом по сердцу помазали, нас похвалили: немногие способные сражаться артиллеристы в дивизии!

Но мы не могли обвинять и пограничников: только вчера в нескольких десятках километров отсюда немцы сбросили десант в красноармейской форме, который лишь к вечеру с большим трудом удалось ликвидировать.

Когда мы прибыли на место, был вечер. Майор, начальник пограничной охраны, извинился перед командирами. Обратно нас повезут только завтра утром.

Капитан Рулли, с самого начала считавший, что все это какая-то чушь, усмехаясь про себя, рассказал майору, тоже, по словам того, служившему в Эстонии, несколько анекдотов. Не знаю, каким уж образом, но между этими историями он успел выяснить, где расположен армейский продовольственный склад.

- Ну, товарищи, подумаем о ночлеге, да и не оставлять же вас голодными, - сказал майор бывшим военнопленным.

Он повел нас за два-три километра в невысокий сосновый лес, в котором и находился крупный склад.

Приятно было смотреть, как этот неуклюжий человек с присущей ему мягкостью уговорил по очереди сперва дежурного, затем начальника, заполнил какой-то бланк, потом этой самой ласковостью покорил кладовщика, а в довершение - и начальника автотранспортной службы.

Результат был таков, что через час мы сидели на сухом вереске под соснами наворачивали консервы.

Тут же, укрывшись шинелями, мы задали храповецкого, а утром машина доставила нас вместе с хорошей поживой консервов обратно в полк.

В ту ночь, когда мы дремали под шинелями, опять зашла речь

о немецких листовках. Кто-то сказал, будто сам читал даже на эстонском и латышском: сдавайтесь в плен, дадим вам на три дня провианта и отпустим домой.

- Брехня в чистом виде, - спокойно сказал на это капитан Рулли.

- Кто его знает, - вставил кто-то из ребят, - я ходил в штаб дивизии за почтой, а там один комиссар допрашивал раненого пленного немца. Он спросил:

- Почему наших комиссаров сразу расстреливаете?

- Я про это ничего не знаю, - ответил немец.

- А с другими пленными как поступаете?

- Назначаем им старшего и посылаем в лагерь на работу.

- А как поступаете с эстонцами? - спрашивает комиссар.

- Выдаем на три дня продуктов и отпускаем домой, - ответил пленный. Может, так оно и есть.

- Чистая брехня. Это пропаганда, - сказал капитан Рулли с невозмутимым спокойствием. - Для меня бы хуже и быть не могло, чем с немцами вместе работать. Дважды я с ними воевал: в мировую войну и против ландесвера. Мне-то уж хорошо известно, что они делают с пленными и что они вообще за люди. Ребята, поверьте мне, в эту войну они еще узнают, почем фунт лиха. Увидите, к зиме положат зубы на полку. Россия велика... А листовки - это брехня, издавна известная, на дураков рассчитанная ловушка...

Сказал и на полуслове заснул, будто дома на мягкой постели.

Когда мы утром проснулись, он был уже на ногах и, до пояса раздетый, делал свою знаменитую утреннюю зарядку.

(Разумеется, я никогда не узнал, как Рулли закончил войну. В общем, скромно, как это было в его натуре - майором и кавалером ордена Красной Звезды.

А демобилизовавшись, он пошел председателем в один отсталый колхоз и с годами сделал его таким крепким, что в газетах не раз печатали статьи про Рулли и интервью с ним. Когда он умер, уже пенсионером, довольно старым человеком, много людей в районе пришло на его похороны. И орденов на подушечках впереди траурной процессии было уже несколько.)

25

Сегодняшнее отступление опять вело нас по проселкам сквозь ольшаник, изрытый машинами и колесами обозных повозок и смятый сапогами пехотинцев. Повозки застревали, ребята толкали их и проклинали все на свете. Предвечернее солнце было еще жарким. Жужжали поздние оводы, в зарослях пахло истоптанным сеном, влажной землей, от которой шел пар, и лошадиным потом.

У одного из поворотов дороги на поляне стояла брошенная лошадь. Безжалостно загнанная. Холка - сплошное кровавое мясо, издали были видны торчавшие ребра, правая задняя нога вывихнута или прострелена, потому что лошадь на нее не опиралась. Она понуро стояла, не поворачивая головы, не шевеля ушами. Даже не делая попытки отогнать густой рой мух.

Мы шли в колонне последними. Почему-то самым последним по этой окаянной глине шел Рууди и вслух проклинал войну, отступление и русское бездорожье.

И тут случилось вот что.

Услышав Руудин голос, лошадь вдруг подняла голову, посмотрела на дорогу и жалобно заржала.

Рууди резко остановился:

- Лаук, черт возьми, это ты! - заорал он и одним прыжком оказался с нею рядом.

- Узнал, узнал... - шептал он измученному животному на ухо, держа его голову под мышкой. - Лаук, милый, что они с тобой сделали...

Крепко-крепко прижимал Рууди голову коня к своей потной гимнастерке, трепал и гладил жесткую гриву. Взгляд Рууди вдруг затуманился, он увидел, как из бархатных глаз лошади катятся слезы.

Это была лошадь Руудиного соседа Каарела Антсумарди. Мобилизованная и взятая на войну, как и сотни других. А, гляди, ведь узнала, узнала сама, бедняга, вконец замученная... Когда бывала толока, Рууди возил на ней навоз, вместе с соседями ездил на ней и в город и на ярмарки. Да... а сколько раз теплыми летними вечерами он ходил через соседский загон, похлопывал Лаука, совал ему в рот кусочек хлеба, потому что только Лаук знал, куда в такие вечера направлялся Рууди... Как говорят, на свидание, потому что Рууди поджидала антсумардовская Хельве. Все сейчас вспомнилось, и двойная боль сдавила Руудино сердце, когда он стоял, обнимая друга за шею...

...Мы ушли довольно далеко, когда позади раздался выстрел.

Рууди догнал нас, глаза у него были краевые. Вечером он ничего не ел, двое суток ни на кого не смотрел. Если его о чем-нибудь спрашивали, он не отвечал или просто отмахивался.

26

Сегодня мы занимались убийством. В самом деле, просто убивали. Огромное количество немцев.

Произошло это так.

Погода стояла душная и знойная. Утром в трех-четырех километрах впереди нас грохотало сражение. Потом наступила тишина. По времени это мог быть обеденный перерыв, но он

продолжался подозрительно долго.

Батарея располагалась на краю низкого ольшаника, хорошо замаскированная ветвями. Перед нами - поле под паром, шириной в полкилометра, за ним - два холма, между ними глубокий овраг. По дну оврага в нашу сторону шла вполне приличная гравийная дорога, которая почти сразу за ним круто сворачивала влево. От нас дорога не просматривалась, но, по-видимому, она вела к довольно крупному селению, потому что в бинокль ясно был различим дорожный указатель на повороте. На вершине одного из холмов стояли в ряд длинные приземистые хлева и кряжистая силосная башня.

В засушливой жаре земля под паром мерцала.

Тишина.

В овраге показалась маленькая автоколонна, наши четыре полуторки с одной противотанковой пушкой в хвосте. В тучах пыли прогрохотали они по кривой налево.

Опять тишина.

Слева послышался рокот немецкой "рамы", но далеко, нас не заметила.

И опять тишина, которая наверняка ничего хорошего не предвещает.

У командира батареи, старшего лейтенанта Рандалу нервы не выдержали. Он позвонил в полк, имеются ли у них сведения о пехоте. Удерживает ли она еще позиции? А если да, то почему такая подозрительная тишина.

- Странно, очень странно, - пробурчал он себе под нос, хотя из штаба ему, по-видимому, сообщили что-то утешительное.

- Халлоп, беги к ездовым, скажи, чтобы ребята держали упряжки наготове, - распорядился он на всякий случай.

Для ясности нужно сказать, что уже долгое время наш полк не был придан какой-либо пехотной части для поддержки, мы находились в непосредственном распоряжении командира дивизии. Слишком мало нас осталось, на всю дивизию только горстка тяжелых орудий, отсюда - такой порядок. С одной стороны, это хорошо, но с другой - у нас было очень смутное представление о действиях пехоты перед нами, потому что нередко мы не имели с нею прямой связи. Иной раз случалось, что впереди находился офицер связи с двумя-тремя разведчиками, но чаще всего этого не было. Да и им трудно было координировать наши действия, потому что непосредственно пехоту мы не поддерживали, только по приказу штаба дивизии. Что, разумеется, не способствовало согласованным совместным действиям. И вдобавок, слишком быстро менялась обстановка, поддерживать связь мешали чисто технические трудности.

Например, нам не хватало провода, чтобы тянуть его к пехоте. Поэтому ограничивались обычно тем, что полк, растаявший до дивизиона, выставлял только самые необходимые наблюдательные пункты и обеспечивал непрерывную связь с дивизией. Да, бывали, конечно, случаи, когда нас придавали для поддержки определенной пехотной части, но это случалось очень-очень редко.

Как именно обстояло дело сегодня, мы, конечно, не знали. Во всяком случае, впереди у нас имелся наблюдательный пункт, в той самой силосной башне: на это провода у нас все же достало. Командир батареи соединился с башней, последовал ответ; ничего особенного не происходит. Затишье.

- А пехота?

- Не могу сказать... Давно уже не слышно ни одного выстрела...

Разговор кончился. Подозрительная тишина продолжалась.

Мгновение спустя запищал зуммер, и теперь с наблюдательного пункта поступили совсем другие сведения: по дороге движется колонна немецкой пехоты. Впереди мотоциклисты.

- Бегом на батарею! Линию смотать! - крикнул Рандалу в телефонную трубку.

Команду выполнили с обезьяньей быстротой, через несколько минут разведчик и телефонист с катушкой провода на спине уже бежали с вершины холма на поле.

Командир сообщил обстановку в полк. Связного послали за упряжками. План был такой: когда колонна спустится в овраг, дадим по ней прямой наводкой и тут же унесем ноги.

Ну да, разумеется: пехота, с которой у нас непосредственной связи не было, сумела незаметно отступить. Никто нас не предупредил ни снизу, ни сверху.

Едва ребята с наблюдательного пункта, запыхавшись, успели прибежать на батарею, как сразу в овраге появились разведчики на мотоциклах с колясками. Два мотоцикла подъехали к повороту, где стоял указатель. Два других остановились возле хлевов. С них соскочили несколько человек, они пошарили возле пустых хлевов, потом остановились на склоне холма, что-то прокричали тем, что ждали на повороте, и заковыляли обратно. Один мотоцикл развернулся и поехал но дороге обратно, другой - затрещал к повороту. Здесь немцы слезли с мотоциклов и стали кружком в ожидании колонны.

У нас орудия были заряжены. Мы с пересохшим от волнения ртом ждали приближения колонны.

На дороге взвилось облако пыли: подъехал возвращавшийся

мотоциклист. Очевидно, он привез новые распоряжения, потому что три мотоцикла медленно поехали дальше по дороге, а один остался ждать на повороте. До подхода колонны еще оставалось время, потому что немцы слезли с машин, сняли каски и закурили.

Но вот подошла колонна, примерно рота, она заполнила весь овраг. Шли они, весело разговаривая, с непокрытыми головами и закатанными рукавами. Офицер дошел до конца оврага, почти до указателя, поднял руку, приказывая остановиться. В этот же момент у нас в ольховых зарослях раздалась команда открыть огонь. Четыре орудия грохнули почти одновременно. Воздушной волной сорвало листья с кустов. Доля секунды - и овраг заволокло пылью и дымом. В ушах гудело, мы опять зарядили и снова ухнули.

Теперь наступила тишина. Только билась кровь в висках и было слышно, как стучит сердце.

На передки!

Ломая заросли, подъехала конная тяга. У кого был бинокль, могли убедиться, что той веселой роты не стало...

Мы их просто убили. Наверно, это единственно правильное слово, потому что не было никакого сражения. Убили потому, что иного выбора для спасения собственной жизни у нас не было. Выходит, что на войне нужно не только воевать или сражаться, но и самым прямым и безжалостным образом убивать.

27

Какого дьявола мы таскали за собой всякие склады, этого никто не понимает. Продовольственный - это еще можно понять. Он находился в реквизированном в Тарту автобусе, за рулем сидел штатский водитель. Но именно этот красный автобус, набитый консервами, мы сами и подожгли, он обуглился и пришел в полную негодность. Произошло это, когда мы первый раз попали в окружение и распространился панический слух, что все равно попадет все к немцам. Водитель автобуса остался сидеть на обочине. Что с ним стало, неизвестно. Он лицо гражданское, его с собой не взяли.

Теперь мы бросили несколько пароконных телег, груженных совершенно новыми шерстяными солдатскими одеялами, воловьими шкурами, из которых вышло бы сто пар прочных подметок, портянками, бельем, мылом и прочим добром, и прежде всего средствами противохимической защиты. Там же был один-единственный на весь полк велосипед.

Все это мы не стали жечь, просто свалили в кучу посреди деревни - пусть люди воспользуются. Разумеется, воспользовались, добро не пропало даром. Велосипед схватил

один паренек, который ездить не умел. Может, по нашей вине упал и расшибся, кто его знает. Все пытался гордо проехаться, натянув резиновые перчатки, заимствованные из химкомплектов, но то и дело падал. Наверно, так и не успел до прихода немцев научиться.

Даже полковая лавка была у нас с собой - как в Тридцатилетнюю войну: большой серый ящик с булочками, еще эстонского происхождения, копченой колбасой, мылом, папиросами, перочинными ножами и бритвенными лезвиями. Перед боями все это как-то само собой исчезло, мы просто-напросто опустошили ящик, не платя денег, военное время! И солдат-лавочник пошел просить у начхоза другую должность.

28

Сегодня противогазы были в большой цене. Оказывается, в батарее нашлось еще пять или шесть штук, преимущественно у повозочных, на телегах среди прочей поклажи.

А произошло вот что: позади нашей позиции находился какой-то совхозный центр с конторой, амбарами и хлевами. Все было дочиста эвакуировано.

Ах да, там мы увидели какие-то странные телеги, которые стояли возле хлевов, оглобли вверх, издали мы подумали, что это целый полк противовоздушной обороны. Нам, эстонцам, эти телеги показались такими диковинными, что мы никак не могли на них насмотреться. Они были на удивление простые и на удивление маленькие. Между двумя оглоблями приколочено пять или шесть досок. Это составляло днище, а боковин и в помине не было. Снизу, под днищем, к тем же оглоблям прибита гвоздями двухколесная ось - вот и вся телега. На ней могло уместиться четыре-пять вил навоза или один большой узел. Позже такие же устройства нам приходилось видеть в обозах беженцев. Объяснить это, очевидно, можно тем, что здесь вообще нет дорог и более тяжелый воз просто увяз бы.

Однако я отклонился.

Важнее другое: в совхозе была пасека. Около нее упало несколько снарядов, в три-четыре улья угодили осколки, некоторые из них повалились, и пчелы очень волновались.

Ясно, что мы тут долго не задержимся, придут немцы и все равно разорят пасеку. Отсюда единственно правильный вывод - бери, что можно. Сформировалась команда из пяти добровольцев, все в противогазах и неизвестно откуда добытых рукавицах. У троих перчатки, у двоих - шерстяные варежки Нашлись также ведра и котелки.

Операция прошла во всех отношениях удачно, только вот пчелы нещадно атаковали грабителей. Лишь бегство сквозь

густые ольховые заросли спасло их от преследования.

Были и поражения. Несколько пчелок нашли дорогу Ийзопу за шиворот. На следующий день шея у него была как у капиталиста - толстая, и в сторону он мог смотреть, только поворачиваясь всем корпусом. Халлоп вместе с сотами сунул в рот переполошившуюся пчелу, в смертельном страхе она вонзила ему в язык жало. Теперь язык с трудом умещался во рту, парень только и мог что пить. Сярель, спасаясь бегством, на полпути сорвал противогаз и получил от разгневанной преследовательницы хорошего тумака в левый глаз, который с ужасающей быстротой заплывал, несмотря на то, что Рууди велел прикладывать к ужаленному месту влажную глину. Свежая коровья лепешка была бы еще лучше, добавил он, да где ее возьмешь.

- Ну что ты стонешь, Карлуша, - утешал он, - разве тебе плохо теперь целиться: глаз сам закрыт, не нужно зажмуривать!

Уже вечером даже непосвященный мог бы заметить, что количество лиц, быстро убегавших в заросли, почему-то резко увеличилось.

29

- Помнишь, - сказал мне Рууди, когда мы вечером устроились на ночлег под одноколкой, - в Тарту было одно место, где сразу так чудесно и громко начинали звенеть шпоры. Там, где улица Тяхе пересекается с Рижской, знаешь, еще не "доходя до "Дома солдата".

Как же мне не помнить. Конечно, помню. Да, как чудесно и громко звенели там наши строевые шпоры.

А в душе разве не возникает вдруг какой-то вакуум, где вдруг начинает звенеть такая боль, что замирает сердце.

30

Впереди на картофельном поле словно вьюжило. Немец шпарил шрапнелью. Наша колонна держалась левее, под прикрытием деревенских изб, и смогла поэтому без потерь отступить по краю поля в низкий, топкий лес. Отсюда по корням деревьев и грязным лужам, извиваясь, куда-то вела колея. Но вела она все на восток.

Пехота отступала прямо по пятам за орудиями. У деревни она даже некоторое время оказывала сопротивление, но тут немец поджег деревню, и измученная цепь последовала за нами через картофельное поле к тому же топкому лесу и на опушке начала новое сопротивление.

Мы вчетвером - я, Ийзоп, Сярель и фельдшер Маркус - почему-то немного отстали от своих и оказались среди остатков отступающей пехоты. Из деревни мы еще видели, как хвост

нашего обоза исчез в лесу.

Когда мы вышли в открытое поле, над головой опять защелкала шрапнель. От нее не спасешься, бросившись на землю, потому что удар свинцовой фасоли настигает сверху. Поэтому мы старались как можно скорее оказаться в лесу. Все шло хорошо, мы уже почти достигли зарослей, когда немец на одно деление прицела перенес огонь дальше, и тут положение стало очень серьезным. Взметалась земля, впереди трещали кусты. Мы четверо, держась как можно теснее, бросились бежать - авось пронесет.

Вдруг рядом кто-то вскрикнул. На бегу брошенный взгляд определил, что это был не наш, последним рывком, как напружиненные, мы ринулись в лес и, с трудом переводя дыхание, приостановились под густой елью.

- А где же Маркус?

Это был Ийзоп, первым пришедший в себя.

В самом деле, мы были втроем.

Пригнувшись, вышли из кустарника обратно на поле. Немцы прекратили огонь, пехота спешно отрывала стрелковые ячейки. По ту сторону поля с треском горела деревня.

Маркуса не было.

- Ма-арку-у-ус! - что было сил позвал Сярель.

Сразу же на нас набросился командир пехоты.

- Чего ты орешь! - прикрикнул он на Сяреля, - немец, может быть, уже в деревне! И вообще, кто вы такие?

- Мы артиллеристы, - объяснил Ийзоп.

Младший лейтенант взглянул на наши петлицы и произнес несколько желчных фраз по поводу того, что наш долг был подавить немецкую батарею, которая благословила нас шрапнелью. Она здесь, неподалеку, вон за той высотой, а на вершине, по-видимому, наблюдательный пункт.

Оно, конечно, так, но только ведь командуем не мы. Мы ищем нашего товарища, он фельдшер.

- Фельдшер? - повторил младший лейтенант и повел нас за собой. Согнувшись, мы шли под прикрытием зарослей до канавы.

Здесь мы обнаружили фельдшера Маркуса - он перевязывал раненых.

Их было четыре человека.

Одному шрапнелью перебило плечевую кость, другому - вспороло ляжку от бедра до колена, у третьего была забинтована нога. А четвертого Маркус перевязал прямо на поле, под огнем, потому что у него вывалились кишки. Маркус приволок его на плащ-палатке сюда, к канаве, и теперь поправлял повязку. От боли по желтому, заросшему щетиной лицу этого человека текли

крупные капли пота, глаза были закрыты. Из уголка рта сочились слюна и кровь.

- Видно, уж теперь не поможешь, - вздыхал Маркус, - хотя сами кишки, кажется, не повреждены. Шрапнель полоснула сверху донизу и, как бритвой, вскрыла брюшную полость... Отправить бы его срочно в медсанбат...

Молодой командир поблагодарил Маркуса за помощь, а на вопрос, где находится медсанпункт, только пожал плечами и показал рукой куда-то назад.

Как бы там ни было, а раненых мы все-таки понесли, в надежде, что, может быть, повезет, с нами пошли еще четыре человека. И нам повезло: через два-три километра нам встретился какой-то пехотный обоз, который и взял их с собой.

От своего полка мы безнадежно отстали. Когда несли раненых, мы следили за колеей от орудийных колес, но на большой дороге, где встретили обоз, следы затерялись. Здесь было слишком большое движение.

- Хуже всего, что нас может задержать отряд заграждения и отправить как пехотинцев на передовую, заткнуть брешь, - беспокоился Сярель.

Этого мы все побаивались, такое в самом деле иногда случалось.

Мы потеряли много времени, наверстать его было почти невозможно. Спросить некого: дорога совсем опустела.

Сели и закурили.

- Ясно одно. Идти нужно на восток, - считал Маркус. - Уж как-нибудь да отыщем своих. - Мы быстро зашагали.

После дождя дорогу развезло, идти было трудно.

В одной сгоревшей деревне на дороге сидели два связиста, по виду эстонцы.

- Не видали, артиллеристы мимо не проходили?

- Нет, не проходили.

- А вы кто будете?

- Дивизионная связь.

Значит, где-то здесь поблизости штаб дивизии. Наверно, где-нибудь тут же обретается и полк. Может, спросить в штабе?

- Ребята, слушайте!

Это сказал Ийзоп.

Прислушались.

Слева проселок сворачивал на большак и исчезал в лесу. Там раздавалось ритмичное лязганье-звяканье, отчетливо сюда доносившееся в предвечерней тишине.

Это было погромыхивание опущенных на марше орудийных щитов! Полк движется!

Пошли на звуки, навстречу своим. О нас уже начали беспокоиться.

Сярель отыскал комиссара и долго и подробно что-то ему объяснял. Кто был поблизости, утверждал, что он говорил о Маркусе, и притом такое, что комиссару было приятно слушать.

Найдя свою колонну на марше, я подумал: странно, как будто домой пришел. Ведь плохо было бы не чувствовать полк своим! А так кажется, что у тебя с собой частичка Эстонии.

31

Про Маркуса нужно сказать, что если бы кому-нибудь вздумалось изобразить современное воплощение бога войны Марса, то в качестве модели непременно следовало бы взять этого человека. Он крупный сильный мужчина, родом с острова Сааремаа, у него густые черные вьющиеся волосы, строгие брови и большая курчавая борода, а руки как хлебные лопаты. Когда он шагает, невольно смотришь, какие глубокие следы оставляют его сапоги. На нем штаны солдатского сукна и рубашка, какую носят под френчем, без галстука, с незастегнутым воротом, как у старшего лейтенанта Рандалу, на бедре топырится фельдшерская сумка, на поясе пистолет и стальная каска на голове. Именно каска, немецкая каска времен предыдущей войны, в нашем полку у всех были такие. И именно были, потому что мы уже успели их выбросить. А Маркус свою каску хранит, как талисман. Когда мы однажды дождливой ночью вброд перетаскивали через ручей одноколку, Маркусова каска упала в воду. Он долго плескался в ручье, по самую шею мокрый, и все-таки свой горшок выудил.

Если он предстанет перед кем-нибудь незнакомым - большой, могучий, заросший, из-под каски густые брови, то вполне может напугать. Халлоп сказал ведь когда-то, что против немецких танков нужно послать Маркуса, если он при этом еще закричит громовым голосом и пальнет из пистолета, то танкисты наверняка выбросят из люков белые флаги.

Однако у этого человека с внешностью Марса доброе, как у ребенка, сердце, он хороший товарищ, в беде готовый поделиться последним.

Никогда я еще не слышал от него ни одного ругательства или грязного слова. Его тихий с хрипотцой смех помогал выхаживать людей. Может, и это средство лежало в его фельдшерской сумке, а то с чего бы она так топырилась?

32

Всем, наверно, известно, что если ящерице палкой прижать хвост, то, спасая жизнь, она его оставит и улизнет. А через какое-то время отрастит себе новый и живет дальше.

Сравнение, разумеется, неподходящее, но, очевидно, могучая

способность живого организма к самозащите и приспособляемости относится и к армии. Только здесь эту способность направляет решение командира, которое в самой тяжелой ситуации всегда устремлено на то, чтобы воевать как можно более целесообразно. Потому что просто, как ящерица, улизнуть и потихоньку отрастить себе новый хвост - этого мы делать не можем.

Был у нас полк, состоявший из трех огневых дивизионов, штабного дивизиона и служб обеспечения.

Он располагался на позициях строго по уставу: впереди наблюдательные пункты, в глубине обороны за ними - батареи, в нескольких километрах от них штаб полка, еще глубже в тыл - склады, кухни, медсанпункт, ветеринарный взвод. Были подготовлены даже точки для ведения заградительного и истребительного огня.

Потом пошли первые бои. Одна батарея отделалась легко, от другой ничего не осталось, от третьей-четвертой - только один или два ствола, кабель связи остался несмотанным, большая часть оптики уничтожена на наблюдательных пунктах. Половина лошадей убита или ранена, у очень многих потертости от упряжи.

И люди, незаменимые каждый на своем месте, мягко выражаясь, уже не на каждом месте.

Первой пришла мысль: ну, теперь-то уж война кончилась! Что это за полк, даже половины от него не осталось! Все смешалось, поставлено с ног на голову: есть лейтенант, но нет больше взвода; есть орудие, но нет упряжки; есть машина, но нет водителя; есть штаб, но нет даже листа писчей бумаги.

И тем не менее все как бы само собой стало на свои места и пришло в действие.

Прежде всего ликвидировали склады.

Вместо убитых лошадей впрягли новых, взятых из обоза. Людей взять было неоткуда, произошло внутреннее переформирование, которое наверняка не отвечало никаким предписаниями, но оказалось целесообразным. Разумеется, первым делом сделали боеспособными батареи, укомплектовав их личным составом подразделений, лишившихся орудий.

В штабе полка появилось несколько офицеров, которым теперь некем было командовать, при нем же возник особый взвод из уцелевших солдат. Он был передан в непосредственное подчинение начальника химической службы полка и выполнял срочные задания полкового командира: занимался связью, ходил в разведку, нес караульную службу. Имелся даже взвод противовоздушной обороны, только без зенитных пулеметов, но зато с сиреной, которой можно было предупреждать о воздушном

налете.

И, гляди, через некоторое время полк снова существовал, хоть и поредевший, но опять такой, каким положено быть военному организму: он функционировал. Правда, многое было уже не так, как до первых боев: провода осталось так мало, что его сматывали через локоть, как деревенские женщины мотают пряжу. Командный пункт командира полка находился непосредственно за огневыми позициями, там же работал весь штаб. И тыл переместили на десять километров ближе, до дымивших кухонь рукой подать.

Приспособились и ребята: все лишнее уже давно было брошено в кусты, взамен обзавелись нужными вещами: тесаками, плащ-палатками и инструментом, ценимым на вес золота, - лопатами. На привалах, не дожидаясь команды, копали небольшие укрытия. Ночью в них хорошо спать, когда крышей служит плащ-палатка, а под боком лежит охапка сена.

Словом, жизнь - какая сейчас жизнь! - война продолжалась, и наш полк оставался боевой частью.

33

Вчера Рууди показал немецким летчикам голую задницу, и на эту редкостную эстонскую цель они извели несколько высококачественных немецких бомб.

И на этот раз мы стояли в каком-то ольшанике (здесь их невероятно много), и Рууди удалился за куст справить нужду. А так как дома он получил хорошее воспитание, то отошел подальше от места нашего привала, на маленькую полянку, и там, на совсем открытом месте, неосмотрительно присел. Немецкий пикирующий бомбардировщик, который уже давно упрямо кружил над кустарником, заметил клочок белой рубашки. Началась неравная дуэль.

Бомбардировщик спикировал. Рууди подхватил штаны и стал хладнокровно ждать. Когда самолет с ревом достиг точки выхода, из пике, он, что было сил, бросился бежать наперерез движению самолета. Когда уже было слышно, как свистят бомбы, Рууди кинулся на землю и покрепче вцепился в траву, чтобы его не подбросило воздушной волной и не накрыло осколками. Рууди рассчитал очень правильно: в пике самолет уже не может изменить направления, и он успеет пробежать метров пятьдесят, прежде чем лопнет яичко небесной птички. Так и было.

Сперва застрочило бортовое оружие, через несколько секунд последовали два оглушительных удара. Когда прекратился свист осколков, Рууди встал и невозмутимо привел в порядок брюки.

Самолет сделал круг и вернулся. У Рууди было достаточно времени, чтобы укрыться в зарослях, но ему было интересно

поиграть. Спокойно переставляя ноги, он вышел на середину поляны и пригрозил бомбардировщику кулаком. Новое пике. Рууди снова побежал наперерез направлению полета. Застрочил бортовой пулемет, грохнули разрывы двух бомб. И опять Рууди как ни в чем не бывало встал. Он проделал этот номер в третий раз. Наконец им обоим это надоело. Рууди исчез в кустах, и проведенный за нос кондор тоже не вернулся: то ли бомбы у него кончились, то ли удовольствовался поражением.

34

Есть у меня верная душа. Это Ветер - мой давний и любимый верховой конь.

Я не стыжусь, что не раз бывал им до слез растроган. Мне кажется, что он меня понимает и всей душой стремится быть мне опорой. Своими бархатными губами он ощупывает мне лицо и руки, в знак дружеского приветствия подает мне правую переднюю ногу: он поднимает ее, согнутую в колене, и подталкивает меня. Ах ты, старый лягушонок! Я ведь знаю, мне следовало бы дать тебе хлеба или сахара, но сейчас у меня у самого нет ни того, ни другого. Хлеба нет уже второй день, мы отрезаны от тыла дивизии, сахара у меня один осколок в носовом платке. Но это - на самый крайний случай, говорят, сахар просто чудодейственное средство, когда совсем обессилеешь от голода.

Ветер, когда ты вот так ко мне ластишься, мне вспоминается теплая конюшня учебной батареи, удивительная смесь запахов навоза, древесных опилок, сена, лошадиного пота и шорного дегтя. Твое стойло было четвертое справа. Когда я по утрам приходил тебя чистить, то останавливался перед стойлом и, как предписано уставом, называл тебя по имени, ты послушно отступал на шаг вправо, освобождая мне место, и тут же поднимал согнутую ногу для приветствия. За что получал кусок сахара. Его, правда, нелегко было достать, в солдатской лавке редко случался кусковой сахар. Да, тогда была холодная зима, зима финской войны. При морозе ниже двадцати градусов разрешалось лошадей чистить в конюшне. Думаю, что нам обоим так было удобнее. Глаз дежурного унтер-офицера не проникал сразу во все сумеречные стойла, можно было немножко поволынить, в полутемной конюшне не проверишь, не осталась ли на коже пылинка. Нет, нет, я не пользовался этим, чтобы скверно тебя чистить, но ты же сам понимаешь, я ведь только человек...

На учениях ты бывал всегда послушный и милый, не устраивал фокусов, когда при вольтижировке на тебя садились задом наперед. Даже на барьеры ты шел охотно.

И вообще, ты молодчага. Ветер, и добрый конь. Верный мой

друг. Смотри, я сегодня специально для тебя нарвал охапку сочного дикого клевера. Но-но, все-таки поосторожней, не волнуйся, старина, будешь сыт!

Ты только погляди! Не пожалел я тебе травы, отвалил по-барски. Лопай, Куста, нынче все клецки, как в старину эстонцы говорили.

А я улягусь здесь же, подле тебя. Отстегну от седла потник, подстелю, подложу седло под голову. Распущу ремень, сниму сапоги и портянки. Так. А теперь стяну галифе пониже, чтобы прикрыть ступни, концы штанин завяжу. Брюки стали, можно сказать, утеплительным футляром. Готово, сверху шинель, он может прийти.

Да-а-а, он уже тут.

Хрумкай, Ветер, хрумкай, старина. Эх, ведь не так уж много и осталось нас, старых батарейных кули. Пропахших конюшней, тавотом и дегтем. Нас мало, поэтому будем держаться вместе.

Совсем засыпаю, сторожи меня, Ветер.

Знаю, что и тебе тяжело. Очень тяжело. Служба в мирное время для нас обоих, по сравнению с теперешней, просто детская игра.

Только тебе, если уж совсем честно рассудить, все-таки немножко полегче. Смею предположить, что о войне ты так много, как я, не думаешь и на душе... на душе... у тебя... наверно... по... легче...

35

Сегодня продирались с орудиями по грудь в болоте и топи, потому что опять отрезаны от больших дорог.

Когда самое трудное осталось позади и мы приблизились к высокому лесу, послышались звонкие женские голоса. Выяснилось, что кто-то приказал деревенским женщинам выстилать дорогу через болото хворостом и деревянными чурками. Эту работу они выполнили хорошо, поэтому последние километры дело у нас пошло намного веселее.

Женщины с мокрыми и грязными ногами стояли на повороте дороги и смотрели на нас с явным сочувствием. В самом деле, картина, которую мы собой являли, в восторг привести не могла: потные, с головы до пят заляпанные грязью, с лошадей течет, на груди и на удилах висит пена, в обозе вместо развалившихся колес волокуши.

- Ох, молоденькие-то какие! - запричитала какая-то женщина средних лет, когда мы с ней поравнялись. Ее оханье услышал Рууди.

В несколько шагов он оказался перед нею и остановился, не зная, как бы подостойнее ответить на это сочувствие. Он

смутился, очевидно, оттого, что слабо владел языком, и в еще большей мере оттого, что рядом с женщиной стояла молоденькая девушка, как спелая ягодка. Правда, на ней было это странное одеяние, которое мы впервые здесь увидели, - его называют фуфайкой или ватевкой тоже, и она вся в грязи, но девушка в самом деле была очень хороша. Растерянность Рууди длилась недолго: сперва он обнял женщину, потом схватил на руки девушку, поднял ее в воздух, так что из-под юбки мелькнули белые коленки, и так звонко чмокнул ее прямо в губы, что даже артиллерийские лошади испугались.

- Ну и богатырь! - всплеснули руками тетки.

Сквозь строй смеющихся женщин мы вышли на сухую лесную дорогу.

36

Сегодня утром на нашем участке был прорван фронт. На рассвете яростно залаяли наши уцелевшие орудия, над передовой урчали легкие бомбардировщики. Едва нам выдали утренний брандахлыст, который становился день ото дня все водянистее, как наступила зловещая тишина и вслед за ней - приказ отступать.

Дорога была песчаная. Орудия приходилось подталкивать руками. Вскоре мы стали чумазые и взмокшие, как черти. Но это еще полбеды. Над колоннами отступающих войск носились самолеты, стрекотало бортовое оружие, бахали бомбы. До сих пор мы продвигались благополучно, но в любой момент они могли обнаружить и нас, хотя проселочная дорога шла через высокий сосновый лес.

Лес кончился, впереди был открытый косогор и на нем деревня. Едва мы дошли до первых домов, как нас остановили пограничники.

- Приказ командующего фронтом маршала Ворошилова: ни шагу назад! рявкнул молоденький сержант командиру полка.

Хорошо сказать: с ходу остановить марш и, не имея никаких данных о пехоте и передовой, занять оборону, - это уж слишком. Кроме того, судя по шуму, сражение на левом фланге происходило подозрительно далеко на востоке - давно обогнав нас.

Командир полка (теперь уже майор) Соболев, сохраняя внешнее спокойствие, разъяснил сержанту, что первой остановиться должна бы все же пехота, а потом артиллеристы. Он посоветовал прислушаться, насколько глубоко вклинился противник слева. Мы окажемся в мешке - единственная в дивизии артиллерийская часть. Кроме того, мы отступаем не по своему усмотрению, нами получен приказ из дивизии.

- Товарищ майор, может, и ваша правда, но нам приказано задерживать отступающие части!

- В данном случае, сержант, это было бы просто глупо, хотя я не возражаю против приказа командующего фронтом, - разозлился майор Соболев и подкрепил свои слова трехэтажным матом.

У околицы мы как-то разделились, командиры получили приказ просто обойти деревню, и было указано место за нею, где колонна должна опять соединиться. Часть солдат, и меня в том числе, отправили в заграждение за пустое поле перед деревней. К нам попал и заместитель политрука, бывший корпорант Лоот.

Это был ушлый парень, в мирные дни руководивший полковым клубом и библиотекой, а теперь во время войны своего места так и не нашедший. С ребятами у него отношения почему-то не клеились, его считали карьеристом. Многие из старого призыва помнили, что летом сорокового года, когда создавались солдатские комитеты, бросалось в глаза, как Лоот сгорал от желания быть туда избранным. Довольно быстро он стал политруком части, и у него на рукаве вдобавок к капральским шевронам и звездочке появился красный треугольник, пересекаемый сине-черно-белой нашивкой. Потом ему стало известно, что на этой должности полагаются майорские шевроны с тем же треугольником. Он принялся добывать офицерский мундир, но на это потребовалось время, а тут произошло переформирование и переход в Красную Армию, где он получил петлицы старшины с четырьмя треугольниками и красную заезду на рукав, которую русские товарищи на своем жаргоне почему-то называли помидором. Как уже сказано, в его ведении находились полковой клуб, библиотека и все прочее, что стали именовать наглядной агитацией.

Итак, лежим на животе на поле у деревни. Полк развернулся по обе ее стороны. Громыхание орудийных колес постепенно удаляется. Там, откуда мы пришли, все еще - подозрительная тишина. Но длилась она недолго. Внезапно в воздухе опять завыло. Непосредственно за нами обрушился огневой удар артиллерии. Через четверть часа в трех-четырех местах выросли столбы дыма и взвились языки пламени: домишки-то ведь сухие, как береста.

Старшим над нами был назначен лейтенант Вийрсалу.

- Чего мы еще ждем здесь, - крикнул ему Ийзоп, - пограничная охрана унесла ноги из деревни, орудия ушли далеко вперед, двинемся и мы помаленьку!

- Да, вроде бы рассиживаться нам тут нечего, - добавил Рууди, сворачивая самокрутку, - мы ведь даже не знаем, есть ли

еще впереди пехота, как бы нам немцам в лапы не угодить. Или будем добровольно героически защищать эту горящую деревню? Может, по приказу Ворошилова вдесятером будем удерживать фронт?

Вийрсалу прекрасно понимал эти слова, наверно, он и сам думал, что пришло время уходить. Но его командирская честь не допускала, чтобы бойцы давали ему советы. Поэтому он молчал и старательно рассматривал в бинокль поросший кустарником луг, который на расстоянии примерно трехсот метров смыкался с полем.

Ребята встали, привели в порядок одежду, закурили и постепенно собрались вокруг Вийрсалу.

Деревня была охвачена сплошным пламенем.

Вдруг из огня и дыма появился всадник, делопроизводитель штаба полка, старший лейтенант Мульдвере.

- Следовать за полком! - крикнул он еще издали. - Пограничной охраны больше не видно.

Он тут же рассказал, что немецкая тяжелая батарея обстреляла перекресток дорог. Три бойца и одна упряжка вышли из строя, люди, правда, только ранены, один все же очень тяжело. Это был тот грузинский мальчик, новобранец, который в апреле прибыл в полк.

Отправились все вместе. Вийрсалу и Мульдвере впереди, мы толпой за ними. Мульдвере мы всегда видели только за столом в штабе, странно было теперь увидеть его верхом. Наверно, ему и самому было неловко, потому что он вскоре спешился и повел коня под уздцы.

Полыхавшая деревня осталась уже позади, когда Рууди вдруг обнаружил:

- А где же Лоот?

В самом деле, Лоот исчез, а мы и не заметили. В этом ничего особенного не было, потому что Лоот нестроевой, обычно он вертелся где-то при штабе или в обозе, а сегодня неизвестно почему затесался в нашу компанию.

- Кто его видел последним? - спросил Вийрсалу.

- Пожалуй, я, - медленно произнес Ийзоп. - Незадолго перед тем, как нам сняться. Сказал, что живот бунтует, и побрел в кусты... Ах, да, с гимнастерки у него были спороты петлицы и не было помидора на рукаве...

- Перебежал, зараза! Все ясно, и нечего рассуждать, - решил Рууди.

- А ему это - студент, говорит по-немецки. Всех нас выдаст, - добавил Ийзоп. - Про тебя, Рууди, например, расскажет, что у тебя длинный язык и что ты обозвал немецкого пленного навозным соловьем. А если он еще вдобавок скажет про то, как ты голой задницей водил немецкого летчика за нос, так они специальную эскадрилью пошлют, чтобы тебя обнаружить...

Треп трепом, а вообще-то нам было не до шуток.

Обидно, что среди нас оказался такой двурушник. Только представить себе: политработник - и переходит к врагу. Значит, вся его предыдущая служба была не что иное, как угодничество и карьеризм в чистом виде.

- Зараза, дерьмо паршивое, - повторил Рууди, обобщая наше чувство. И очень правильно добавил: - Теперь придется нам эту кашу расхлебывать.

Первый втык получил лейтенант Вийрсалу от командира полка. Почему не доглядел? Почему на месте не пристрелил?

А писарь Баранов говорил потом, что комиссар, слушая эту историю, от злости чуть наизнанку не вывернулся. Можно поверить, вполне можно. Это был для него большой удар, пошатнулась его репутация человека, знающего людей, потому

что именно Лоот пользовался у него доверием. Комиссар всегда был замкнутым и недоверчивым, а теперь еще больше убедился, что для этого есть основания. Он якобы даже процедил сквозь зубы:

- Эстонцам нельзя доверять!

Вот это и была та каша, которую нам пришлось расхлебывать.

Вообще, наверно, война - великий пробный камень каждого человека.

Потому что война - это сама смерть. Перед ее лицом, наверно, невозможно лгать и притворяться, на войне человек именно таков, каков он на самом деле.

Господи, да мало ли что бывало, но то, что произошло у нас, - явное предательство, так мог поступить только подонок. Никто не возразил, когда Рууди сказал, что он, не моргнув глазом, расстрелял бы этого человека.

37

Если случается, что у эстонца все в порядке с головой, то у него большей частью ненормальные ноги. То есть - огромные. Вполне понятно, что у таких крупных мужчин, как фельдшер Маркус или Рууди, большие ноги, но Ийзоп вовсе не крупный. Чуть выше метра семидесяти, а сапоги у него сорок четвертого размера!

Очевидно, дело здесь в длительном влиянии среды, к которой особи с течением времени приспособились. То обстоятельство, что эстонский народ в своем невежественном консерватизме больше четырех тысяч лет прожил на одном месте, несомненно, оказало воздействие и на строение тела. Ведь преобладающая часть Эстонии низменная и болотистая. Естественно, что большие ступни позволяют успешнее преодолевать мягкую болотистую местность. Несомненно, происходил жестокий естественный отбор: особи с меньшим размером обуви, тщетно взывая о помощи, погибали в гнилых болотах, а пращуры с большими ступнями шествовали дальше и, вытащив из-за пояса каменный топор, полные энтузиазма принимались рубить новые хижины для новых поселенцев в таких местах, где другой народ поразумнее либо вымер бы с голода, либо, разозлившись, плюнул и ушел, прежде чем плевок успел высохнуть.

Это что касается теории эволюции. На практике жертвой этой теории оказался рядовой боец Ийзоп, у которого подметка левого сапога безнадежно увязла в жирной красной глине. Он пытался разжиться новой обувью, но сапог сорок четвертого размера нигде не было. Целых полторы недели Ийзоп ходил с прикрученной проводом подошвой и выслушивал всевозможные комментарии (сапог с воздушным охлаждением, с автоматическим втеканием и

вытеканием воды и тому подобное) и советы, от которых, разумеется, подметка к сапогу не приросла. Но зато на марше Ийзоп выигрывал. Он то и дело забирался на обозную телегу и, нежась, шевелил розовыми пальцами, которые с любопытством выглядывали из грязных портянок.

Однажды старшина все же раздобыл для Ийзопа новые бахилы, какие мы до сих пор видели только издали. Это были кирзовые сапоги. Правда, они болтались немного, но Ийзоп поплотнее затянул их ремешками от Шпор.

38

С заспанными глазами я стоял в штабе полка рядом с капитаном Рандом, его немытый палец медленно двигался по карте.

- Поедешь вот вдоль этого болота. Разузнаешь, нет ли там немцев, не идет ли по болоту какая-нибудь дорога, поглядишь, не видно ли нашей пехоты. Только будь осторожен: двигайся под защитой кустарника, на открытое место не суйся. Наблюдай внимательно. Возьми мой бинокль.

Я посмотрел на капитанскую карту. Болото не бог весть какое большое. В западной его части - а она, может быть, уже у немцев - отмечена возвышенность с какой-то деревней. Это "может быть" и беспокоит капитана. Никто ничего твердо не знает, связи с пехотой нет; неизвестно, имеется ли она еще впереди. А дорога или тропа интересует нас потому, что немцу по ней легче и напрямик перейти болота. На карте, правда, дорога не обозначена.

- Товарищ капитан, мне одному идти?

- К сожалению, да. Мне некого дать тебе с собой. Если немца увидишь, галопом обратно. И вообще, больше часа не отсутствовать!

Я еще раз бросил взгляд на карту и вышел. Просто молча повернулся, не отдавая чести. Война - все стало как-то проще. И капитан, не по уставу, обращается на ты - старый призыв.

Оседлал как следует своего Ветра и вскочил в седло. Поводья взял в левую, заряженный карабин спустил с предохранителя, ремень перекинул через правое плечо, чтобы оружие было под мышкой.

До болота недалеко, километра полтора.

Стояло раннее утро.

Молодой ельник источал свежий запах хвои. Было влажно и прохладно, так что я поеживался - в лесу солнце начинает пригревать только к середине утра. А невидимые птахи с такими родными голосами спокойно и по-деловому щебетали, будто нигде в мире и не было никакой войны.

Неприятно было двигаться между росистыми молодыми елочками, обильная влага пропитала гимнастерку и тонкие летние брюки. Мокрым рукам стало холодно. Выехал на открытое место и пустил Ветра рысью.

Лес становился все ниже, ели сменились ольшаником и березняком. Остановил коня и прислушался: все тихо.

До болота наверняка уже близко. Еще раз остановил Ветра и снова прислушался. Ничего подозрительного, только еж прошелестел от одного куста к другому.

Да, земля становилась все более влажной, кустарник - низким, высокий иван-чай хлестал по стременам. Вот я и у болота. Оно расстилалось передо мной километра на три, покрытое низкорослыми кустами, карликовыми березами, пучками касатика и иван-чая, но были на нем и открытые участки с хилой болотной травой и дымящимися озерцами. Болото как болото.

Направил Ветра в более высокий березняк, привстал на стременах и скользнул биноклем по болоту. Абсолютно ничего подозрительного. Никакого движения. Возвышенность за болотом была окутана легкой дымкой, и ее трудно было разглядеть. Только смутно просматривалась колокольня с зияющими проемами.

Ничего не поделаешь, приказ есть приказ, решил я. Проеду шагом километр-полтора вдоль болота. Карабин положил на луку седла.

Двигаемся дальше. Осторожно, как было приказано. Время от времени я останавливался, изучал в бинокль болото, прислушивался - как это всегда делается в разведке. Все спокойно.

Тут мое внимание привлекла едва заметная колея, пересекавшая мой путь и уходившая в болото. В самом деле, была тропа, в топких местах выстланная ветками. Судя по всему, совсем недавно через болото в нашу сторону, то есть на восток, проехали телеги. Очень легкие, по-видимому, те странные двухколесные повозки псковских колхозников, которые так удивили эстонцев. На такую только и положишь, что узел с вещами, другая здесь и не пройдет. Так. Запомнил, в каком месте колея уходит в болото, куда ведет и на каком расстоянии это могло быть от нашей батареи.

Решил, что пересеку колею, проеду еще немного вперед и сразу же помчусь обратно. Кто знает, какие могли за это время последовать распоряжения, может, стволы уже на передках и полк двинулся дальше. Ищи их потом полдня! Да еще на пустой желудок!

Тут это и случилось.

Едва я пересек колею, как из болота раздалось два выстрела. В сущности, я их услышал уже, когда Ветер, всхрапнув, встал на дыбы и всей тяжестью рухнул на колени. Я полетел головой вперед, карабин отбросило на большое расстояние. К счастью, я инстинктивно выдернул ноги из стремян, потому что лошадь сразу же повалилась на правый бок, изо рта и ноздрей у нее шла кровавая пена.

На мгновение у меня потемнело в глазах, удар был очень сильный, я еще ободрал правый бок о трухлявый пень.

Но быстро пришел в себя, и первое, что я увидел, были глаза моего Ветра. Большие, карие, добрые, верные. Шея у него была вытянута, и под потной кожей часто билась жилка, а из грудной клетки, из-под потника, хлестала кровь.

Я цел, была моя первая мысль, но Ветер ранен, и тяжело. Я хотел вскочить на ноги, но увидел, что от болота нас загораживает только несколько жалких кустиков и высокая трава. Черт бы меня подрал, зачем мне понадобилось вылезть на открытое место! Ползая на четвереньках, отыскал карабин и пилотку. Да, кажется, цел, - пробормотал я еще раз.

И тут я снова увидел добрые, такие знакомые глаза Ветра. Он попытался поднять голову, собрав все силы, попробовал встать на ноги, но уже не смог. Розовая кровь с воздушными пузырьками сочилась на траву.

А глаза еще жили. Я лежал на боку на окровавленной траве и смотрел ему в глаза, но только и мог, что похлопывать умирающего коня по шее и, как дурачок, все повторять:

- Скажи, ну скажи же... скажи...

Но что он, бессловесное животное, мог мне сказать.

Жизнь в его глазах угасала. Еще один проблеск мелькнул в них, он попытался приподнять голову, потом в последний раз всхрапнул и... скончался. Он вытянулся на траве на правом боку. Левый глаз, уже ничего больше не видевший, уставился в ясное небо, и в нем как бы застыл укор, обвинение.

Ах вы, проклятые душегубы, убили невинную тварь! Погодите же, свиньи, это вам так не пройдет! Сатанинские ваши души. Ветер был не какая-нибудь паршивая кляча, это был мой конь! Что он вам, подонкам, сделал?

Я вытер рукавом гимнастерки глаза и мысленно ругался самыми последними словами. Действительно, тоже мне герои, из засады подстрелить лошадь, тут даже захочешь - не промахнешься! Это же в чистом виде убийство, а не война! Трусливое, омерзительное убийство!

Ну, скоты, обождите, теперь я точно так же убью вас. Просто

убью. Я уже не первый день на войне и давно уже не пай-мальчик. Погодите!

Я принял решение.

Немцы видели, что мы оба упали. Они видели, что ни один из нас не встал. Они видели, что из лесу больше никто не приближается. Они непременно придут полюбоваться на дело своих рук. Только сперва они немного выждут. Пусть. Мне тоже потребуется некоторое время, чтобы достойно их встретить.

Я отполз немного назад, к пню, о который так сильно ушибся. Нет, отсюда болото не очень хорошо просматривается. Еще немного назад. Да, вот отсюда видна эта колея на болоте, будь она проклята, и большая часть самого болота. Слева меня скрывает кочка. А теперь не нервничать и терпеливо ждать. Они придут! Непременно!

Что там не один человек, это ясно: почти одновременно дали два выстрела. Один, очевидно, предназначался Ветру, второй - мне. Тот, кто стрелял в Ветра, попал, второй, растяпа, промазал. Автоматов у них нет, иначе для большей верности благословили бы нас очередью. На рожон не полезут: не знают, что скрывает лес, это все-таки наша территория. Если худо придется, на помощь мне придут лес и мои быстрые ноги.

Так. Держись, парень, сейчас у тебя некоторое преимущество перед ними.

Прошло наверняка четверть часа.

Мои предположения оправдались.

Сперва на дороге вдоль болота появился один немец. Пилотка за ремнем, брюки подвернуты выше сапог. Он внимательно осмотрел болото впереди, быстро пробежал несколько десятков метров в мою сторону и бросился под куст, потом отполз между кочками на несколько метров в сторону.

Точно по уставу, подумал я.

Наверно, он там перевел дух и оглянулся, нет ли впереди чего-нибудь подозрительного. Лежа, он махнул рукой своим. Теперь из кустов вышел второй дозорный и проделал точно такой же маневр.

Точно по уставу.

А сейчас начну действовать я. Когда они снова высунутся, расстояние будет каких-нибудь сто метров.

Я дам первому сделать перебежку. А когда за ним появится второй, я его убью. Я буду знать, за какой кочкой лежит первый, и сразу пошлю в него свинец. Интересно посмотреть, что он будет делать на этом открытом месте среди болота, когда останется один. Обратно податься страшно, - место открытое и нужно повернуться спиной! Идти вперед тоже опасно - до кустов добрых

пятьдесят метров, и он не знает, где я.

Именно так я и поступил, потому что решил их убить. Голова у меня была ясная, и к убийству я был готов. Эту падаль мне нисколько не было жаль.

Итак, когда первый сделал перебежку, я засек место, где он залег и откуда поманил друга. Через несколько мгновений тот появился, он шел неторопливо и неохотно. Я его отлично понимал: угрохали одинокого всадника, чего тут еще цацкаться... больше в этом Проклятущем болоте все равно никого нет...

Как подкошенный упал он на полдороге.

Новый патрон в ствол - и вторая пуля шлепнулась в кочку, за которой лежал на животе старший дозора.

Тишина.

Дьявол, все равно я тебя убью! И кочка тебя не спасет. Я снова выстрелил, еще и еще. Магазинная коробка опустела. В ответ не стреляли. Опять зарядил карабин и почувствовал, что очень устал.

И вдруг мне стало совершенно безразлично, попал я в него или не попал. Если жив, пускай. Больше я в него не стреляю.

Пополз обратно к Ветру. Вокруг него, точнее, на окровавленной траве уже жужжали мухи. Отпустил подпругу и стащил у него со спины седло. Честно говоря, это было тяжко. Снял с головы уздечку. И тут меня вдруг обуял страх.

То был дозор, ясно. Но они же шли впереди какой-то части, как боевое охранение. Торопись, парень, скоро болоте позеленеет от немцев, и ты, как зайчонок, окажешься у них в руках. Через полчаса они атакуют батарею. Скорее!

Седло и узда на загривок, карабин в правую руку, и поднялся на ноги. Одним духом домчался до леса. Бежал, пока хватило легких. В висках стучало, пот стекал из-под пилотки, заливая глаза.

На мгновение остановился. Кроме шума крови в ушах и тяжелых ударов собственного сердца, я ничего не слышал. Или все же? Не звучат ли на болоте голоса? Дьявол, мне уже слух отказывает!

И зачем я тащу это седло, будь оно неладно? Разумеется, так положено по уставу: с павшей лошади следует снять упряжь. В такой же мере по уставу, в какой немцы по уставу пересекали болото.

Ладно, черт с ними, а седло это с моего Ветра, и если уж я взял его, так дотащу до батареи.

Попытался сориентироваться на местности и пошел быстрее, потная рубаха липла к телу. Наверно, я так и остался бы с седлом на дороге, если бы меня не нашел младший сержант Пяртельпоэг.

Его отправили меня искать. Положили мы на спину его каурому еще одно седло, он вел лошадь под уздцы, я держался за стремя, чтобы легче было идти.

В лесу уже раздавались характерные для марша звуки. Полк получил приказ к отступлению.

К нам подъехал капитан Ранд.

- Товарищ капитан, обнаружил на болоте немецкую разведку... Нашей пехоты не было... В середине болота проходит колея... Ветра застрелили...

- До этого болота нам дела больше нет, отправляемся на другие угодья, ответил капитан на мой захлебывающийся рапорт.

- Ветра жаль...

- Да, жаль, хороший был конь.

О немцах мы больше не заговаривали. У капитана не было времени для расспросов, а мне не хотелось говорить, что Ветра попросту убили и что поэтому спустя полчаса и я стал убийцей.

Хороший человек капитан, думал я, шагая за пушкой, все-таки послал меня отыскивать. Не то бы я сейчас еще обливался в лесу потом. Бывает такая суета и такая спешка, когда один пропавший человек ничего не значит.

Больше я об этом не думал, например, о том, нужно ли было вообще кого-то посылать в это треклятое болото, если все равно приходится уходить. И если бы вторая пуля меня нашла...

Сунув руку в карман, я нащупал в нем твердый комок, это был кусок сахара в носовом платке.

Какой же ты подонок, сказал я себе. Ты обманул Ветра. У тебя был сахар, когда он просил. А ты, подлец, ему не дал, и он умер, не получив на этой безотрадной войне даже кусочка сахара. Каким же негодяем может быть человек!

Я швырнул узелок в кусты.

39

Сегодня был ранен старший врач полка, очень толстый человек. Произошло это, когда он ехал в своей коляске по лесной дороге. Именно в коляске, в которой когда-то ездил подполковник, командир нашей войсковой артиллерийской группы, в тех случаях, когда не пользовался своим черным автомобилем. Эту коляску потащили с собой на фронт, и командир полка предоставил ее в распоряжение врача - на рессорах все-таки, возите, мол, в ней раненых.

Ну да, а тут вдоль дороги на бреющем полете летел "мессер", доктор и ездовой едва успели укрыться в придорожной канаве, лошадь сама понесла в лес. Но в силу того, что доктор был очень толстый, а канава мелкая, два осколка угодили ему в ягодицы. Он приспустил разорванные брюки, ездовой кое-как перевязал ему

задние полушария, помог забраться в коляску и уложил на бок.

У ездового был хорошо подвешен язык, и он рассказывал эту печальную историю с особым удовольствием, что тоже можно понять. Все мы когда-то стояли, спустив брюки, перед этим самым доктором, чтобы тот проверил, в порядке ли наш источник радости. А теперь было наоборот. Само собой понятно, что ездовому задавали немало уточняющих вопросов.

40

На этот раз, кажется, обошлось.

Мы сидим и тяжело дышим - после бешеной стрельбы и ужасного напряжения нервы натянуты до предела. Уши заложены, руки дрожат.

Я смотрю на своих и едва узнаю. Ты ли это, Ильмар, когда-то застенчивый парень, который сейчас нещадно ругается и неумело сворачивает самокрутку? Подбородок у тебя зарос светлым пушком, руки в тавоте, левая штанина разодрана. Рууди лег, ноги свесив в окоп, тело на откосе. Меньше всех изменился надменный Халлоп, служивший раньше в морской крепости, он жадно курит, уставившись в пространство, вдоль уха в расстегнутый ворот сбегает тоненькая струйка пота.

Командир батареи, старший лейтенант Рандалу, сдвинул фуражку на затылок, его офицерская рубашка у воротника на спине насквозь мокрая. Он смотрит на часы и расстегивает планшет.

- Дьявол его знает... может, кое-что и удалось... Так вот стрелять просто по карте, на авось... - говорит он больше самому себе, водя пальцем по карте.

С трудом узнаю и его, некогда представительного офицера старой армии, блестящего спортсмена-наездника, а сейчас обросшего, в замызганном мундире.

Да и сам я, когда смотрю на себя со стороны, кажусь себе чужим. Не оттого, что на мне пыльная, грязная одежда и что у меня обломанные ногти...

Мы как-то постарели, хотя нам по двадцать два года. Что-то в нас навсегда сломалось, что-то прежнее ушло и на смену пришло что-то новое. Что именно, я не знаю. Может быть, у каждого свое. В жарком котле войны мы сразу повзрослели.

Даже комиссар полка, суровый Добровольский, изменился. И ему, бедняге, нелегко приходится, много было неприятностей, нервы у него натянуты, хотя внешне он старается сохранять спокойствие. Вчера я был у него конным связным. Ездили в тылы дивизии. Дорога шла сквозь густой сосняк. Мы пустили коней рысью; вдруг кто-то у дороги зашуршал ветками. Комиссар рванул поводья, лошадь встала на дыбы, а он выхватил револьвер

из кобуры. Просто какая-то большая птица, расправив крылья, взлетела с дерева. Комиссару стало за свой испуг немножко неловко, иначе он бы меня не выругал, что я не схватился за карабин. Разумеется, прав был он: "Солдат всегда должен быть начеку! На войне повсюду неожиданности!" А что за неожиданность эта стерва-ворона! Окажись это враг, выстрелил бы из-за куста, а мы бы даже глазом моргнуть не успели.

Последнее время комиссар стал более снисходительным. Дело не наше, но сдается, что у него возникли теплые отношения с только что прикомандированной к нашему полку женщиной-врачом. О-о, да-а. Было у нас переживание, когда эта довольно привлекательная особа лет тридцати прибыла в полк. Перед нами как бы возник призрак из какого-то другого, нам недоступного, мира. Красивая женщина, хорошо одетая, говорят, даже из Москвы. Но уже на следующий день на ней была полевая форма с одной шпалой на петлицах. Только вместо брюк - юбка. Все-таки лучше, чем если бы совсем не осталось на что смотреть.

А то, что у комиссара как будто назревал роман (хотя мы считали, что для _такой_ красивой женщины он слишком стар и очень уж неказист), ничуть его не уронило в наших глазах. Думаю - даже наоборот, прежде он был для нас чужим, суровым и абсолютно непогрешимым, как господь бог местного значения. А теперь, когда мы открыли в нем человеческие слабости, он стал нам казаться гораздо человечнее. Человек и должен остаться человеком.

41

Рвало меня так, чуть душу не вытряхнуло.

Вышло, что опять мы попали в объятия немцев. Я находился впереди, на наблюдательном пункте, и телефонист едва успел крикнуть об этом в телефонную трубку, настолько быстро все произошло. Почти одновременно с немцами мы прибежали на огневую позицию.

Мы должны были во что бы то ни стало спасти наши драгоценные орудия, поэтому перед огневой позицией развернули в цепь всех, кто оказался под рукой: разведчиков, связистов, хозяйственников, даже номера расчетов, чтобы любой ценой выиграть время, пока не уберем орудия.

Немцев оказалось не так уж и много, к счастью, с ними не было станковых пулеметов. Видимо, какой-то передовой отряд или разведка, хотя напирали они с каким-то лихим азартом, с заносчивостью, с каким-то приводившим в бешенство сознанием своего превосходства. Впереди нас с Халлопом короткими прыжками, как помешанный, бежал плотный рыжий немец. Явно - матерый волк: он приближался рассчитанными короткими

перебежками зигзагом и стрелял из автомата, стараясь попасть точнее. Двоих наших ребят он уже ранил, хотя и не очень тяжело.

Совсем вблизи, в двадцати-тридцати метрах, когда уже ясно был виден его крючковатый нос, крагеншпигели и пуговицы на мундире, мы этого напористого немца уложили. Мы с Халлопом попали в него, наверно, одновременно (хотя у нас и тряслись поджилки, по крайней мере - у меня). Немцу снесло полголовы, вторая пуля прошила туловище, из него хлестала кровь, как из свиньи на бойне.

До чего же омерзительное зрелище.

Атаку мы отбили, к нам на помощь вовремя подоспели со своим ручным пулеметом Иванов и Рябцов. Просто благодать, что нам послали такое подкрепление. Правда, парни еще совсем зеленые, но действовали очень толково и свое дело знают. С одними нашими карабинами нам бы плохо пришлось.

Только мне было так тошно от вида убитого немца, что, когда мы стали отходить, меня до тех пор выворачивало, пока не пошла зеленая желчь. С такого близкого расстояния я еще никого не убивал. И хотя мы на дело наших рук смотрели какую-то долю секунды (потому что таким способом убитый человек падает мгновенно, как цветок под косой) и приторного запаха крови не успели почувствовать, все равно меня стало тошнить.

И почему-то вспомнилось, как однажды отец позвал меня, чтобы помочь ему освежевать только что забитую овцу. Она лежала в риге на подставке, и мне нужно было держать ее за ноги, чтобы легче было снять шкуру. Держу, а самого мутит от запаха свежей крови. Подступает и подступает. И моя репутация была спасена чисто случайно: у отца оказался недостаточно острый нож, и он пошел искать оселок. Пока он ходил, меня как следует вытошнило, и дальше дело пошло без заминок.

Но человек не баран, поэтому и мутит сильнее.

Вырвало и ладно, будем надеяться, что дальше дело пойдет без осечек. Ко всему привыкаешь.

У Халлопа, похоже, более жестокое сердце, он и виду не подал. Он постарше нас, плавал несколько лет матросом. В 1939 году ходил на одном норвежском судне, которое немецкая подлодка пустила на дно. После многих приключений он вернулся на родину, и здесь его ожидала срочная служба. Иногда он проклинал себя, зачем не остался, болван, за границей, угодил из огня да в полымя. Вообще он парень хороший, только временами бывает надменен и вспыльчив. Если разозлится, сразу кулаки в ход пускает. Наверно, жизнь моряка научила его. Он, несомненно, смел, но не безрассудно. И упрям. Если уверен, что прав, любого начальника может послать подальше. И, как уже

сказано, сердце у него потверже, чем у меня, ему муторно не стало.

42

Сегодня почти над самыми нашими головами произошел воздушный бой между двумя истребителями. На этот раз верх одержал наш. Зашел немцу в хвост, и того охватило пламя.

Комиссар полка и несколько ребят помчались смотреть, что за птица. Видать, опытный был человек, на груди награды.

Как бы там ни было, а наблюдать такой поединок жутко. Здесь дело идет не о выигрыше или проигрыше, а о жизни и смерти. Как в сказочных поединках, где один должен быть повержен. Наверно, именно такой бой и был бы самым честным на этой войне. И наземным войскам можно было бы раздать дубины и послать людей один на один. Хотелось бы знать, долго ли тогда продлилась бы война!

- Начать бы с самого верху и столкнуть лицом к лицу двух главных? Не на жизнь, а на смерть, за кем победа, тот и выиграл войну, и делу конец, предложил Рууди.

Пошел обмен мнениями, кто же оказался бы победителем.

- Ну, черт подери, чего тут спорить: наш с первого удара свернет голову этому пустельге, - уверял Рууди, и его мнение разделили все, особенно когда он сообщил, что Гитлер начисто лишен мужской силы.

- Да он еще на той войне без мужских причиндалов остался, с таким справишься одной левой.

Ребята смеялись. А ведь в самом деле стоило, бы на такой поединок поглядеть. В особенности, если бы он решил исход войны.

43

Одним из столпов прежней эстонской армии был унтер-офицер сверхсрочник, тот самый, именуемый "прыщом" сержант или фельдфебель - промежуточное звено между солдатом и офицером.

У старых сверхсрочников - за спиной была долгая служба, большинство из них - по крайней мере в артиллерии - служили по разным специальностям. Они были командирами орудий, отделений связи и разведки или помощниками командиров взводов, они одинаково хорошо знали лошадей, боевую технику и топографию. О строевом уставе и говорить не приходится. На их плечи ложилась основная тяжесть обучения новобранцев. И нельзя сказать, чтобы у них у всех был безнадежно низкий уровень общего образования, среди тех, кто помоложе, были даже люди, окончившие среднюю школу, которые почему-то не попали в военное училище.

Поэтому не следует удивляться, что сержант-сверхсрочник мог успешно командовать как огневым взводом, так и разведывательной службой или службой связи батареи и даже дивизиона. Короче говоря, это были отлично обученные, дисциплинированные кадры, на подготовку которых, по сравнению с офицерами, было затрачено значительно меньше средств. В случае необходимости ими вполне можно было заменить младших офицеров.

И ничего нет удивительного в том, что многие сверхсрочники стали командирами Красной Армии. Вернее, лишь немногие ими не стали, как правило, это были бывшие капралы и младшие сержанты, еще мало прослужившие, среди которых попадались, правда редко, и старые сверхсрочники.

Одним из таких был лейтенант Рокс, командир огневого взвода. Он прослужил в армии более пятнадцати лет. Сквозь рыжеватые жидкие волосы уже просвечивала макушка. Высокий, худой, прямой. На родине у него осталась семья и выстроенный ценою огромных усилий собственный домик недалеко от казармы, в пригороде.

Нужно сказать, что в артиллерии и прежней эстонской армии среди "прыщей" редко, наверно, попадались такие типы, которые бы просто придирались к солдатам, орали на них и вообще принадлежали к категории гнид.

А старший сержант Рокс даже говорил мало, и голос у него был не по-военному тихий. Это был суховатый человек, знавший свое дело и неукоснительно выполнявший свои обязанности. С ребятами отношения только служебные. Он ничем не старался завоевать популярность среди солдат и прослыть стоящим человеком. В перерывах между занятиями он редко пускался в разговоры, молчаливый и замкнутый, он попыхивал сигаретой, чтобы точно по часам продолжить занятия. Он не переменился и когда стал офицером.

Авторитет, которым пользовался лейтенант Рокс, еще больше вырос в наших глазах во время сражений, он оказался отлично владеющим собой командиром огневого взвода. Иной человек внешне может быть дельным и уравновешенным, а в бою оказаться таким трясогузкой и слизняком, что даже смотреть тошно. Лейтенант Рокс и в сражении был само спокойствие: как будто выполнял самую повседневную работу. Он знал свои орудия и своих солдат, долгая служба научила его десяткам практических приемов, что в сочетании со спокойным характером создавало ощущение надежности. Поэтому ребята не боялись быть с ним ни на огневой позиции, ни на марше.

Такой был человек лейтенант Рокс.

Правда, сперва лейтенант Вийрсалу относился к нему несколько свысока. И это тоже было понятно, потому что он-то пришел из военного училища. Но бои довольно быстро стерли это различие.

44

У Рууди есть губная гармоника, иногда по вечерам, когда заканчивается дневной труд и стихает суматоха, он наигрывает такие берущие за душу вальсы и хороводные песни, что сердце так и тает.

И памятью сердце согрето,
тебя не забыть никогда,
пока не погасли рассветы
и в небе сияет звезда.

Любимая песня старшего лейтенанта Рандалу "Катюша". Ее еще и потому приятно петь, что тут могут присоединиться и русские. Среди них есть очень хорошие певцы. А сверхсрочник сержант Кяпа из штаба бренчит на гитаре и поет шлягеры. Завлекательная эта песенка - "По дороге на Мехико...".

Однажды в обеденный перерыв я видел Кирсипуу в тени под двуколкой с маленькой книжкой в руке - английско-эстонский карманный словарь Векшина. Ненормальный парень, зубрит английские слова!

Сярель ведет дневник. Только по вечерам, потому что тут уже более или менее твердо знаешь, что день пережит.

А Ильмар читает какой-то эстонский календарь, времен, предшествующих первой мировой войне, который мы случайно обнаружили в одной эстонской деревне на Псковщине.

Это было удивительное событие.

Колонна шла по дороге, дорога делала поворот.

За поворотом - деревня.

И мы обомлели. Хочешь верь, хочешь не верь - перед нами частица Эстонии. Длинные дома, под одной крышей и жилые комнаты, и рига, и крытый ток. Отдельно стоят амбары и бани. Яблоневые деревья и сады. Этого не может быть!

Но тем не менее это так. Перед нами была деревня эстонских переселенцев, теперь какой-то совхоз, занимающийся травосеянием. И даже было так, что женщины и дети очень плохо говорили по-русски!

Нас угостили свежесваренной бараниной - хлеба у них не оказалось, его и прежде возили из города. Разговорились, и очень интересный получился разговор, потому что, по их представлениям, Эстония оставалась такой же, как в этом календаре, который Ильмар в какой-то избе выпросил себе на память и сейчас, наверно, уже в сотый раз перечитывает.

Мне тоже очень хочется что-нибудь читать или писать. Сообщения Информбюро приходят в полк редко, да и те - с большим опозданием, кроме того, по-русски мы читаем по складам. Печорские ребята - Матвеев, Сухарев и Костин могли бы помочь, да только в тех немногих доходивших до нас сообщениях ничего про Эстонию не говорилось. Именно того, что нас больше всего интересовало. Время от времени политрук Шаныгин рассказывает, что делается на фронтах, хорошего там ничего не происходит.

Про некоторых людей говорят: родился солдатом, как, например, Вийрсалу. Но это не совсем правильно. Человек не рождается для войны. Иначе почему же и на войне наперекор всему он хочет заниматься чем-нибудь совсем другим. Даже более того - он просто жаждет чего-нибудь человеческого.

45

Сегодня при отступлении охотились за немецкими парашютистами. Троих подстрелили на деревьях с густыми кронами. Шлепнулись, как гнилые яблоки.

Четвертый остался жив и даже после того как упал, все еще отстреливался, пока его не обезоружили.

Перевязали ему рану на плече, и он зашагал, прихрамывая на вывихнутую при падении ногу, в направлении штаба, конвоиром был Антон Касук, самый медлительный и добросердечный человек среди номеров орудийных расчетов.

Не прошло и получаса, как он вернулся с красивыми немецкими никелированными часами на запястье.

- Хотел, зараза, драпануть, - спокойно сказал Антон, - пришлось свинец потратить, что поделаешь.

- Как драпануть? - удивился Рууди. - Он же едва волочил свой растянутый мосол.

- Симулировал, падло, как только вошли в заросли, так сразу кинулся наутек. Крикнул ему - стой, куда там, пустился, аж кусты трещат... Ну выстрелил вдогонку, по уставу положено...

Так изложил дело Антон нам, так доложил и командиру батареи, на том все и кончилось.

А часы и правда красивые, "Омега". Сперва показывали немецкое время, а когда перевели на московское, безропотно стали показывать и его.

(Я никогда не узнал, что Антон Касук закончил войну командиром орудия, потом был бригадиром в одном Вырумааском колхозе. Выйдя на пенсию, стал выращивать розы. "Омега" и сейчас у него цела и ничего, ходит... Стоящие часы.)

46

Сегодня был такой день, что немец не шевелился. Мы его

долбали по карте: один огневой удар - по деревне, другой - по оврагу или по лесу. Старший лейтенант Рандалу вошел в раж, только и делал, что вычислял и подавал команду. Видно, мы попадали в немца, раз к вечеру появилась их "рама". Но батарея была хорошо замаскирована, сидели тише воды, ниже травы, так что нас не обнаружили.

У всех у нас запор: в лесу полно черники.

Говорят, кто-то приходил из дивизии и повторил, что Наш полк - только какой уж это полк! - единственная артиллерийская часть в дивизии, которая вообще еще на что-то способна. Передал нам это лейтенант Вийрсалу, сам он при этом так и сиял.

Рууди обнаружил сегодня у себя на рубашке Первую вошь. Мы все ходили поглазеть. Не знаю, откуда они берутся? Видимо, оттого, что спим не раздеваясь.

Вообще, день сегодня что надо. Так воевать можно.

47

Сегодня как-то мимоходом и незаметно, чтобы не привлечь внимания, арестовали и увели из штаба полка капитана Ранда. Куда и почему - этого, конечно, никто не знал, в том числе, наверно, и сам Ранд. Все, кому эта новость становилась известна, приходили в недоумение. Только старшина Раннасте не увидел в случившемся ничего особенного и заметил, что каждый получает по заслугам. Он ликвидировал и капитанский чемодан, снял его с офицерской повозки, иными словами, присвоил себе и поделился с другими его содержимым. Я ничего не взял, хотя Раннасте и предлагал мне совсем новое махровое полотенце.

Мне этот капитан нравился. Не очень высокого роста, по-деревенски крепкого сложения, образцовый наездник и толковый человек, преподававший артиллерийское дело в военном училище. Прямолинейный, решительный, резкий на слова и невероятно спокойный. С ребятами обходился хорошо. Любимчиков у него не было. Ко всем относился одинаково. Если кто-нибудь делал что-то не так, он сразу объяснял, что к чему, никогда не измывался и не оскорблял. Если дело делалось хорошо, то он так и говорил, не хвалил и не хлопал по плечу. Корректный до мозга костей. Никогда ни одного похабного анекдота, ни одного бранного слова. Никогда не терял головы.

Единственно, что могло послужить причиной происшедшего, было то, что он всегда честно высказывал все, что думал, и делал это в присутствии бойцов. Он был недоволен отступлением. Несколько раз резко отзывался о пехоте, осуждал панику и запоздалые нелепые распоряжения сверху.

Но разве это основание? Капитан ведь был прав, Или они никому из офицеров старой армии не доверяют? Нет, это тоже

неверно: сколько капитанов осталось, не говоря уже о лейтенантах, и так воюют, что только держись.

- Какая-то гнида нажаловалась, - решил Рууди и, по-видимому, был прав.

48

Вечером Рууди сказал:

- Теперь я уже не говорю: хорошо, что бог не создал меня навозным жуком.

- А что, жуком быть лучше, чем солдатом?

- Лучше.

- А что бы ты делал, если бы был жуком?

- Помчался бы что есть духу домой, так, чтобы вода для кофе в заднице закипела.

- А у немецких лошадей катышки питательные, небось не утерпел бы, попробовал?

- Даже на зуб не взял бы, - затряс головой Рууди, - пока дома не завидел бы катышей моего старого Каурого...

Наряду со смертью, тяготами сражений, усталостью от маршей, путаницей, сопутствующей поражениям, и чувством подавленности появился еще один незримый, но неотступный спутник войны, который порою прямо надрывал сердце. То была тоска по дому.

Мы уже давно ее испытывали, только не умели с такой одухотворенной поэтичностью говорить о ней, как Рууди.

49

Ем пшенную кашу с постным маслом и думаю:

Спасибо, что ты когда-то была у меня. Ты, моя первая и беспредельная, моя великая любовь, чистая и единственная! Такая любовь не ищет наслаждений, потому что она - _чудо_. Не знаю, умру я сегодня, завтра, послезавтра или, может быть, даже останусь жив в этой безумной войне, но того, что между нами было, никто и ничто не может у нас отнять.

Я ем горячее пшенное варево и не чувствую его вкуса. Может быть, у него и нет вкуса. Я даже не чувствую и того, как оно обжигает мне рот. Два дня я не ел ничего горячего. Только это, наверно, совсем не важно. Важно, что я желаю думать, помнить и чувствовать, то есть быть человеком. Быть выше убийственной усталости и отупляющего голода.

...Если я умру, прошлое мое будет таким маленьким, что в него вместишься только ты, моя первая любовь. Так ты велика!

А помнишь? - конечно же, ты это помнишь - как весной мимолетные поцелуи в темном уголке школьного коридора сменялись долгим уединением на пригородных лугах, где от края до края, от земли до неба - мы были только вдвоем? Мы, подобно

цветам вокруг нас, заполняли все мироздание, просто и естественно отдаваясь друг другу.

Я знаю - никогда это не повторится. Ни у меня, ни у тебя. Наверно, живым я из этого ада не выйду, но в жизни у меня было нечто прекрасное, потому что своей любовью ты сделала меня намного лучше, чем я был. Ты можешь выйти замуж второй, третий, четвертый раз, но это не повторится никогда, уверяю тебя. Я скажу тебе это даже из могилы и не ошибусь.

Наверно, много юношей погибнет в этой войне, не узнав такого счастья. Мне в моей жизни в этом отношении повезло, умри я хоть сейчас - все равно я скажу, что умру счастливым. Не смейтесь, олухи, теперь я знаю, любовь великая сила.

Может быть, для того, чтобы это понять, была нужна война? Но вот Халлоп, этот старый янки, со звоном бросает ложку на дно котелка и говорит:

- Теперь бы самокрутку потолще и ливерпульскую потаскушку помоложе.

- По правде-то говоря, - добавляет он, - самые молоденькие и пышные были все-таки в Гдыне. Наверно, потому, что в Польше это единственный порт, отсюда и большая конкуренция, а еще и потому, что в этой стране противоречия между бедностью и богатством острее, чем где-нибудь в другом месте. Однажды в Стокгольме шла впереди меня женщина, ну просто чудо бедра, ножки и прочее... Вытащил десять крон, догнал и сзади молча сунул ей. А она - до чего же была хороша - мгновенно развернулась, швырнула деньги мне в лицо и влепила такую пощечину, что я три дня ходил распухший. В Таллинне за эти самые десять крон и жена министра бы согласилась.

Отправились на реку драить котелки. Закурили, а вот потаскуху ни ливерпульскую, ни польскую, ни таллиннскую Халлопу взять было неоткуда. Не говоря уже о стокгольмской.

Только и оставалось, что закурить.

(Я никогда не узнал, что моя первая любовь уже в 1942 году вышла замуж за человека, который был каким-то хозяйственником. На свадьбе они пили медицинский спирт, потому что подруга моей возлюбленной работала в аптеке, а во время оккупации, кроме слабого вина, выдаваемого по норме, ничего покрепче достать было нельзя. Они были счастливы и, наверно, любили друг друга. В сентябре 1944 года оба они погибли во время шторма на Балтийском море, когда вместе с еще девятнадцатью спутниками на старой моторной лодке пытались добраться до Швеции.

Значит, не только земля, но и вода может соединить судьбы.)

Этой ночью я был дома.

И почему-то наша старая изба была совсем темная. И темнота - удушливо тяжелая, и все - какое-то странное.

Отец и мать тонули в этой темноте, виднелись только их лица и плечи. Они смотрели на меня немигающими глазами. Там же должны были быть три моих брата и сестра. Я их не видел, но чувствовал, что они дома.

Я рассказал им, что был на войне, что она ужасна, но, как видите, вернулся. Я дома, и все опять хорошо. Я, должно быть, даже смеялся.

Никто мне ничего не сказал.

И тут передо мной возник наш большой старый обеденный стол. Вокруг него никого не было, только я один. Почему-то на мне была моя новая длинная шинель, несмотря на то что стояло лето.

Никого за столом не было. Вдоль него стояла длинная скамья, на одном конце которой виднелась впадинка от сучка, в детстве на рождество я колол в ней вальком орехи. Я не сел на эту бесконечно знакомую скамью, потому что никто на ней не сидел. Я был один.

Я проснулся от собственного крика, и такая боль сдавила мне сердце, что я не мог вздохнуть...

...Так оно и есть, помимо всего остального, такого тяжелого и страшного, на войне существует еще две особенно тяжелые и страшные вещи.

Одна из них - это когда во сне побываешь дома. Нет ни войны, ни смертей; Ты ешь за домашним столом домашнюю еду, ведешь с домашними домашние разговоры. Ты встречаешься с той чудесной девушкой, которую ты любил, она подает руку и, может быть, вы даже целуетесь... И тут тебя будит разрыв снаряда или трясет за плечо командир. Очень страшное пробуждение. Такого пробуждения не пожелаешь никому, а сколько раз на этой войне именно так просыпались бойцы! И сколько тысяч после такого пробуждения сразу шли на смерть.

И вторая - это когда полк идет в бой. Идет и молчит. Лязгают опущенные орудийные щиты, скрипят обозные повозки, ржут лошади, позванивают шпоры. Но солдаты молчат. И не только потому, что разговоры запрещаются. Над колонной неумолимо навис тягостный вопрос: кто? Кто останется здесь, на безымянном холме, в незнакомой деревне, в никому не известных зарослях - и кто вернется обратно? Колонна знает: все умереть не могут, но и в живых все не останутся, это неправдоподобно. Только кто? Кто погибнет и кто останется жив? С кем окажусь я? Я не хочу здесь остаться, но от этого никто не застрахован. Ибо кто-то _должен_

умереть, это очевидно. Несмотря на то, что никто не хочет, никто не думает, что погибнет именно он. И хотя мы пока живы и невредимы, судьбой войны колонна разделена на тех, кто останется жить, и на тех, кого ожидает Великое Безмолвие. Что кого ждет? Этот вопросительный знак замыкает рот на замок, он делает нас нервными, злыми, просто не хватает сил быть выше. Хоть бы прийти! Хоть бы уже началось! Хоть бы скорей все было позади...

51

Лежим на краю тальника, заряженные карабины на расстоянии протянутой руки. Нас шестеро. В полдень получен приказ выставить охранение в километре-полутора впереди батареи, потому что опять нет связи с пехотой. Неизвестно даже, есть ли она между нами и немцами. А сейчас, значит, мы и есть это охранение, которое лежит на брюхе, жарясь на солнцепеке.

Перед нами в знойном мареве мерцает хилое клеверное поле, там далеко местность становится выше, глаз различает картофельное и капустное поля. Интересно - целое поле капусты. В Эстонии никогда такого не увидишь. За полем - деревня.

Время тянется. Кузнечики стрекочут, бабочки порхают. Обливаешься потом, хотя и не шевелишься. Сярель заползает под куст, кладет карабин под голову и устраивается поспать.

- Случится что-нибудь, разбудите!

Рууди, не вставая, тянет к себе под нос сумку от противогаза, выуживает из нее полбуханки хлеба и два грязных куска сахара. Половину хлеба и один кусок сахара ловко бросает Ильмару. И они с аппетитом принимаются за еду.

- Не оставляйте наблюдения! - сонно бормочет Сярель под кустом.

- Не оставляем. Супостат коварен, - дурачится Рууди с набитым ртом.

Время тянется. Очень жарко. Хочется пить, но у нас нет с собой фляжек.

Ничего не слышно. В деревне никакого движения. Кузнечики так стрекочут, что от напряженного ожидания начинают болеть барабанные перепонки.

Время тянется.

Только часа через три за нами приходит связной: ведено вернуться!

Сквозь заросли начинаем пробираться обратно в батарею.

Среди прекрасного лиственного леса очень тихая поляна. Пышные кустики дикого клевера доходят нам до колен, ромашки крупные, ярко-белые. Звонко и весело щебечет на склоненной березе незримая птица. Будто и нет войны.

- Дьявол, чего ты искушаешь! - кричит вдруг Халлоп и, схватив с земли сук, швыряет его в березу.

При этом у него очень гневные глаза.

52

Капитан Нойман эстонизировал в 1937 году свою фамилию и стал Уусмаа, но от пьянства это его не спасло. Штабной писарь говорил как-то, что ему удалось сунуть нос в офицерское досье (адъютант случайно забыл запломбировать сейф), в дисциплинарную карточку Уусмаа внесены интересные записи:

"Один месяц домашнего ареста за то, что такого-то числа в пьяном виде с хлыстом гнался в Тарту по улице Кюйни за незнакомой женщиной". Или:

"...за неподобающее поведение в нетрезвом состоянии в казино артиллерийских офицеров..." Или:

"...за распевание в пьяном виде нецензурных песен и приставание к женщинам в ресторане "Синимандрия"..."

Он служил в спецкоманде группы, что теперь соответствует штабной батарее. Это было теплое местечко. Зашел часа на два, поговорил с сержантами и писарем команды и, если нет в это время офицерского наряда, можешь отправляться куда-нибудь бражничать. Разумеется, никакой надежды на повышение в должности или чине у него не было. Только Уусмаа этого и не добивался. Голова у него уже давно лысая, лет ему за пятьдесят, жены нет и к службе он, видно, относится, как к источнику денег, необходимых на выпивку. Мундир всегда из самого дешевого офицерского материала, на ногах стоптанные сапоги, похоже, что на водку шла и некоторая доля обмундировочных денег.

В Красную Армию капитана Уусмаа перевели, очевидно, без сучка, без задоринки. Водку он пил по-прежнему, только без скандалов и не в служебное время. Можно предположить, что это давалось ему нелегко, наверно, даже приходилось бороться с собой.

В молодости Уусмаа был наверняка блестящий и способный офицер, потому что свое дело он знал и сейчас. Он искусно владел оптическими и звуковыми приборами, а в знании топографии ему не было равных в полку. Когда руки у него еще так не дрожали, он получал награды за стрельбу из пистолета. Между прочим, он единственный, кто, уходя на фронт, взял с собой логарифмическую линейку.

В дни войны капитан Уусмаа оставался как бы в стороне от больших событий: что он делал в штабной батарее, этого точно никто не знал. Вынужденный вести трезвый образ жизни, он вдруг стал очень тихим и в высшей степени деловым. Говорили, что командир полка его ценит как опытного и умного офицера.

Этому можно верить. Кроме того, он еще и смел.

А сегодня случилось так, что Уусмаа с самого утра был сильно на взводе. Кто его знает, откуда он после большого перерыва снова достал самогон? Он удрал из штаба и пошел по огневым позициям. Планшет был у него подозрительно туго набит, и сумка от противогаза выглядела тяжелой. Он любезно обращался ко всем офицерам, предлагая им отхлебнуть из плоской бутылки, не забывал и ребят у орудий. Кто пил, кто нет.

- На войне нужно, чтобы всегда был глоток, - философствовал он, - война - это занятие для сумасшедших, на трезвую голову нормальному человеку она противопоказана. Человек существо страшное, он нападает на себе подобного. Представьте себе, что животные опустятся до уровня человека, что если лошади начнут убивать лошадей, коровы - коров, овцы - овец... Пейте, ребята, самогон что надо...

- Так почему же вы стали кадровым военным, если считаете, что война занятие для сумасшедших? - позволил себе спросить Рууди.

- Друг мой, - ответил капитан Уусмаа слегка заплетающимся языком, но с еще вполне ясными глазами, - для меня это означало только профессию, я же никогда не думал, что мне придется пойти на настоящую войну... Она еще все смешает, эта чертова война, увидите сами... Тот из нас, кто останется жив, после войны совсем иными глазами будет смотреть на мир. Наверняка и среди вас кое-кто начнет сильно закладывать... потому что вино наводит человека на совершенно другие мысли, на гораздо более высокие, и часто он и поступает совсем иначе и даже гораздо лучше, чем иной трезвенник...

Мы усмехались.

- Тут нечему усмехаться, - Уусмаа плюхнулся на бровку орудийного окопа. - У выпившего человека совсем другой полет, который выносит его из тесной раковины... Выпьешь, и можно думать и поступать как заблагорассудится, можно, не стыдясь, плакать о том, что чего-то ты в жизни не совершил, и даже весь этот омерзительный мир - простите меня, ребята! - просто послать в задницу... В вине и лирика и ад, и ангелы и дьяволы. Пейте, ребята, до чего же хорош самогон!

Бутылка пошла по кругу, мы пили очень деликатно.

Сам же Уусмаа хватанул как следует, сунул бутылку в противогазную сумку, вежливо отдал нам честь и ушел, слегка покачиваясь, но выпрямив спину.

- Эх, пропади оно все пропадом... - донеслось еще из-за кустов.

После обеда мы стали очень быстро отступать. Снова пошел

слух, что каким-то образом мы опять попали в мешок. Орудия и обоз быстро-быстро потянулись на лесную колею, впереди - заслон, позади замыкало прикрывающее подразделение с пулеметами. Как всегда в спешке возникла неразбериха, на дороге образовались пробки, пехота пыталась пойти в обход, но не смогла вклиниться в колонну. Слышалась похабная ругань, окрики повозочных, слова команды. Весьма обычная история.

Ничего удивительного, что в этой горячке все забыли про капитана Уусмаа. Но без поисков его и нельзя было обнаружить, потому что он заснул в чаще тальника, привалившись спиной к стволу молодой сосны, с бутылкой самогона в руке.

(Разумеется, мы никогда не узнали о том, что случилось с капитаном Уусмаа. А произошло следующее...

Когда он проснулся, солнце стояло уже довольно низко. Его удивила необычная тишина. Ощутив в руке бутылку, он автоматически отвинтил пробку и как следует отхлебнул, потом встал на ноги и пустил длинную журчащую струю. Застегивая брюки, он стал прислушиваться: где-то поскрипывали колеса, звучали обрывки фраз и лошадиное ржание. Все это как будто приближалось.

- Эх, только ведь и знаем, что шагаем, - плохо повинующимся языком, нетвердо стал напевать Уусмаа и подался в сторону звуков.

Когда раздвинулись придорожные кусты и появился русский офицер с бутылкой в руке, ездовой немецкой пароконной повозки так испугался, что выронил вожжи.

- Ах, значит, вот оно что... - не совсем уверенной рукой капитан выхватил из кобуры пистолет и, прежде чем немец опомнился, грохнул выстрел. Ездовой свалился с облучка под колеса, лошади запутались в вожжах и сбились с шага. Тут раскрылся брезентовый свод фургона, раздался выстрел, пуля просвистела мимо уха капитана Уусмаа и пролетела в кусты.

Однако здесь же, метрах в пятнадцати позади, двигалась вторая повозка. Она была открытая, в ней сидели три человека. Увидев, что произошло, они тут же бросились наземь. Двое исчезли за повозкой, а третий - простофиля не двигаясь с места, поднес карабин к лицу, и Уусмаа застрелил его прежде, чем тот успел нажать курок.

Обоз остановился, немцы попрятались, и через полминуты по капитану Уусмаа стреляли уже из десятка карабинов.

Он полез обратно в кусты. Все так же с бутылкой в левой руке, на дне которой плескалась еще изрядная доза самогона.

- Спокойно! Спокойно, капитан Уусмаа! - сказал он себе, наклонил бутылку, высосал все до последней капли и швырнул ее

оземь. Потом присел на корточки, потому что стрельба становилась все ожесточеннее, раздавалась команда и стук сапог.

Спокойно!

Несколькими неверными шагами он снова достиг дороги. Немецкий унтер-офицер оказался первым, кого Уусмаа увидел в пяти шагах от себя. Капитан Уусмаа не промахнулся.

- Подите вы все к дьяволу, заразы! Капитана Уусмаа вам, паразитам, так просто не взять! Выходите, заячьи души! - орал в стельку пьяный капитан и, держа пистолет в вытянутой руке, рвался навстречу мчавшимся на него солдатам.

- К дья-а-а-аволу!..

Он упал лицом в дорожную пыль с пустым пистолетом в руке. Кровь, вытекавшая из груди и живота, изрешеченных пулями, в одно мгновение образовала на дороге большую, ярко-красную лужу.)

53

Согнувшись, я привалился к брустверу окопа наблюдательного пункта. В стереотрубу смотрит другой человек, я могу немного передохнуть. Передохнуть? Как ты тут передохнешь, если, возможно, тебя уже засекли, и в любой момент по наблюдательному пункту может жахнуть этакая ягодка - мина или снаряд, один черт знает какого калибра, менее или более ста миллиметров, а то и шестидюймовка.

Шестидюймовка - еще тот подарочек. Если накроет, ничего от тебя не останется, кроме искореженных шпор, пряжки от ремня и брючных пуговиц. Мягкая часть сразу превратится в фарш и жалкие лохмотья. Я такое пережил и все же остался цел.

А было это, когда полк принял первые бои.

Мы стояли кружком на широкой булыжной дороге, которая по-русски называется шоссе. Разговаривали и курили. Ребята были из нескольких дивизионов, из артиллерийского управления дивизии, из штаба полка, были и связные из пехоты. Вместе мы оказались совсем случайно, но тема наших разговоров была серьезная. Какова сущность этой войны? Почему нас привезли в Россию и что с нами будет?

Вдруг послышался пронзительный свист, потом - тшут-тшут-тшут и, наконец, бабахнуло! Мы - дурни, какими мы тогда были, - ничего не сумели предпринять, когда на краю дороги приземлился здоровенный снаряд. Тут же, рядом, у всех на глазах! На краю мостовой. Воздушная волна была такой силы, что у некоторых послетали с головы пилотки. Нам была известна железная традиция артиллеристов: снарядам противника не кланяться (кое-кто из нас заплатил за это жизнью), но мы были такие зеленые, мы еще не знали, что приближение снаряда

сопровождается прелюдией: сперва слышен свист, а потом - тшут-тшут-тшут. Знать бы нам это, так солдатским инстинктом нарушили бы железную традицию и бухнулись носом вниз, как поступали позже. А тут стоим по неведенью во весь рост, как стояли встарь гордые артиллеристы (да и пехотинцы), и круглыми глазами смотрим, как на обочину приземляется чемодан: Вжик! Бах! Туча пыли.

Это была смерть.

Мы поняли это в первую же десятую долю секунды.

Во вторую десятую долю секунды половина из нас уже лежала.

В треть оставшиеся стоять поняли, что он не разорвется.

Спустя еще одну десятую долю секунды, осознав это, встали и лежавшие. А те, кто стоял (в том числе и я), впервые почувствовали себя настоящими артиллеристами и, исполненные мужества, продолжали курить "Ахто": дескать, что тут такого, на войне всякое случается...

Но мы очень хорошо знали, что у нас, оставшихся стоять, просто более замедленная реакция и что мы отнюдь не герои. Потому что, когда мы рассмотрели немецкий подарочек, мы поняли, что своим спасением обязаны просто слепому случаю. Наши гимнастерки - и тех, кто стоял, и тех, кто лежал, - вполне могли украсить телеграфные провода. Это был 152-миллиметровый снаряд "Шнейдер-Крезо". С ним шутки плохи.

Никто из нас не знал, почему этот снаряд не разорвался. Может, он слишком долго лежал на складе, а может быть, он был изготовлен руками немецких, французских или чешских интернационалистов? Может быть, какой-нибудь немецкий артиллерист почему-то не ввернул взрыватель... Может быть...

Ладно, Довольно об этом снаряде. Я на бруствере окопа, передо мной живые травинки и крохотные коричневые муравьи, которых на моем родном диалекте называют мурашами.

Черт, опять вспомнился дом. Но что же она, в сущности, такое, эта тоска по дому, по родным местам или вообще по родине? И любовь к родине? И почему меня нужно было привезти сюда, чтобы я с особенной болью почувствовал, что эта любовь действительно существует?

Ох, если бы не было этих мыслей! Здешняя красная глина не то что каменистая земля моего края. Разве мне положено рыть эти окопы и защищать каждую пядь этой земли? Я вполне понимаю русских, когда они умирают за эту красную псковскую глину, но понимают ли и они, что каменистая плитняковая земля Эстонии достойна того же? Может быть, понимают. Я ведь ничего не знаю о том, что происходит в моей милой Эстонии. Из слов

того вырумааского лесного брата только одно ясно: на эстонской земле идет сейчас страшное смертоубийство: убивают немцев, убивают русских, убивают эстонцев. Человек против человека, брат против брата. На этой самой каменистой плитняковой земле, за эту самую землю. О господи, разве все это нужно! Одна земля, один язык, один народ, одни мысли и идеалы - как нас учили в школе, а теперь от этого ничего не осталось.

Черт с ним... Человек слишком мал, чтобы во всем этом разобраться. Сейчас мы воюем. Эй ты, сукин сын, там за стереотрубой, откуда только что прилетели немецкие гостинцы, неужто ты сумел батарею засечь.

Когда наверху жужжат осколки мин, взметаются комья земли, я кланяюсь спасительной красной псковской земле, в ней наверняка продолжают сновать маленькие рыжие муравьи, которых на моем родном диалекте называют мурашами.

Эх, земля, родная земля! И хуже всего, что она есть и у немцев!

- Тридцать четыре, ноль-ноль, - произносят от стереотрубы.

54

Сегодня приключилась такая история, что если ее рассказать, так не поверят, скажут: не отливай пулю! Но она случилась на самом деле.

Огневой взвод устанавливал орудия на позиции.

Переведенный к нам из разбитой первой батареи Пяртельпоэг копал укрытие для боеприпасов. Только он приступил к делу, расставив ноги, одна - на лопате, другая - на земле, как вдруг с визгом прилетела немецкая мина, да так неожиданно, что никто ее не услышал Прилетела, вонзилась в землю у Пяртельпоэга между ногами и не разорвалась. Не то бы от Пяртельпоэга и других осталось мокрое место и на этом бы все кончилось. А нет - мина пронеслась с такой силой, что содрала с Пяртельпоэга штаны Истинная правда, только лохмотья повисли на поясе и сохранились боковые швы да наколенники, а все, что у Пяртельпоэга между ляжками, оказалось на ярком солнышке.

- Всех деток летом в деревню, - изрек Рууди, глядя на эту картину.

Конечно, счастье, что так обошлось, только без смеха невозможно было смотреть на парня, в таком он был виде. Других штанов сразу взять неоткуда. Сперва Пяртельпоэг удрал в кусты, затем прикрылся портянкой, потом достали для него синие трусы и лишь к вечеру принесли новые брюки.

Эта занятная мина была единственной, прилетевшей к нам на позицию. А так все было тихо.

Из этой истории военные теоретики могут делать далеко

идущие обобщения. Например: не только сытость и вооружение определяют боеспособность солдата, но и наличие на нем штанов. Или: если бы изобрести оружие, которое снимает с мужчин брюки, то оно вышибало бы их из строя почти так же хорошо, как все то, что убивает.

55

- Живот до того пустой, что если с заднего конца заглянуть, так небось все зубы видны, - со злостью произнес Рууди.

В самом деле, со вчерашнего дня мы потеряли кухню. То есть, скорее наоборот, кухня нас.

Честно говоря, мы никогда нашего повара особенно не любили. Поваром был у нас Аугуст Ландевей, весьма немногословный и всегда будто чем-то недовольный человек старого призыва, родом откуда-то из Сетумаа. Он был неизменно корректен, каждому выдавал совершенно одинаковую бурду, будь то последний повозочный из хозвзвода или командир батареи. У этого нелюдимого человека не было ни симпатий, ни антипатий. Можно поручиться, что он не украл ни кусочка мяса, ни крошки жира. Все это, разумеется, чрезвычайно похвально, чего о поваре даже невозможно предположить. Но, как это ни странно, сверхкорректность и сверхчестность давали какую-то осечку, ребята не испытывали к Ландевею расположения. Будь он чуточку более типичным армейским поваром, ловчи он хоть немножко, возможно, все было бы иначе. Будь похлебка дрянной, можно было бы отругать его. Вдобавок ко всему он был еще тощ и сухопар, что уж совсем оскорбительно противоречило представлению о типичном поваре. Я не раз слышал, как ребята говорили, что Ландевей просто глуп, раз не умеет как следует откормиться у котла. Рууди допускал и какую-нибудь скрытую болезнь: чахотку, язву желудка или солитер.

А теперь наша тоска по непопулярному Ландевею стала невыносимой. Невольно приходило на память, в каких обстоятельствах он кормил нас: непосредственно во время боя, на быстрых маршах при отступлении, под проливным дождем... Нередко случалось, что горячий суп ждал нас в четыре утра и в двенадцать ночи. Когда же этот прохиндей спал? Да и далеко не всегда просто бывало достать сухого топлива для котла: как часто мы продирались через гнилые болота и заросли ольховника, где не увидишь сухого хвороста. В самом деле - шапку долой перед фронтовым поваром Ландевеем, это редкостный парень, только мы не умели его ценить. Так мы чувствовали и думали, как это бывает всегда, когда из повседневной жизни выпадает что-то очень важное, чего в обычной обстановке мы не в состоянии ценить...

Но мы еще не знали всего.

На следующий день к вечеру, когда без крошки хлеба и капли горячего мы отмахали в парную изморось тридцать километров и остановились на ночлег в каких-то ольховых или березовых перелесках, то через несколько часов хотите верьте, хотите нет - к нам притащилась повозка с хлебом и дымящаяся кухня!

- Ребята, становись! Прибыл командир баланды!

Мы расхватали котелки и ложки.

Но у котла вместо Ландевея стоял совсем нам неизвестный человек из хозяйственного взвода; прибывший с мобилизацией из России солдат, имени которого мы не знали.

- А где Ландевей?

- Убили, - коротко ответил новый повар, откинул крышку котла и окунул черпак в горячее пшенное варево.

Очередь онемела.

- Не мели, как это убили... Этого не может быть!

Действительно, это невероятно. Около двух лет молчаливый, тощий Ландевей разливал нам похлебку, а теперь от него осталось только короткое слово "убили".

Ландевей в самом деле погиб. Вместе с кухней и лошадьми, возившими хлеб. Вместо них теперь в упряжке были два загнанных верховых коня, холки у них безнадежно, до крови стерты седлом. Густой рой мух вился над липкими от гноя, смазанными мазью струпьями.

По словам хлебного повозочного, это произошло вчера в полдень.

Ландевей и старшина получили продукты и маршрут, по которому надлежало следовать за батареей. Уже набрали воды из ручья, разожгли огонь под котлом, Ландевей как хороший хозяин взял лошадей под уздцы и повел их к ручью, напоить перед дорогой. Когда они возвращались с водопоя, над лесом, прямо над вершинами деревьев, на бреющем полете появился "мессер", притом так внезапно, что они ничего не успели предпринять. Самолет обстрелял их разрывными пулями из крупнокалиберных пулеметов и сбросил две бомбы. Пулеметная очередь просто скосила лошадям головы, хлеб в повозке тончайшими осколками был превращен в крошево. Ездовой показал на железные обода: даже они были искусаны осколками. Сам он успел кинуться под повозку и чудом остался цел.

Ландевей с лошадьми находился посреди дороги, в него угодили бомбы...

- Он ведь, бедняга, плохо слышал, наверно, только тогда и разобрал шум самолета, когда тот уже прямо над ним летел, - рассказывал повозочный.

Короче говоря, тяжелый и, как серп, острый осколок бомбы отрезал нашему повару обе ноги выше колен...

- Ребята, застрелите меня... - просил он, - я ведь все равно помру... А когда домой вернетесь, не говорите моей матери, что такая мне страшная смерть выпала...

Так погиб наш повар Ландевей, которого мы, по правде говоря, не очень любили, потому что он не был вполне типичным армейским поваром, и о котором мы так мало знали (даже того не знали, что он был туг на ухо!), хотя почти два года он раздавал нам наш солдатский харч. Теперь вместо него Иван Бузулуков.

- Ребята, кто из вас знает домашний адрес Ландевея? - спросил хлебный повозочный.

Никто из нас адреса не знал. Где-то в Сетумаа, но где именно?.. Книги личного состава полка, пишущие машинки и другие бумаги мы сожгли, когда первый раз попали в окружение, так что и в штабе полка сведений не получишь. В этом смысле все мы люди без биографий, пока писари не начнут заново составлять списки.

А может, так даже и лучше. Матери никогда не смогут узнать, какой страшной смертью умерли их сыновья...

Забрали свой суп и двухдневную порцию хлеба.

И хотя живот подводило от голода и он был пуст именно так, как сказал Рууди, все же горячий пшенный суп с постным маслом и мягкий, вязкий хлеб совсем не показались нам такими вкусными, как мы ожидали. Хоть и война, а все-таки трудно есть поминальную еду, в приготовлении которой принимал участие сам умерший.

- Черт бы подрал эту ясную погоду, - ругался Рууди, - почему бы ей еще вчера с утра не испортиться, и человек бы жив остался.

На ночь огонь под кухней разводит новый повар. Огонь по-домашнему мелькает сквозь щели закрытой дверцы, веселый дым идет из трубы - ночь туманная, сегодня нечего бояться самолетов...

(Я не узнал, что в левом кармане брюк погибшего Ландевея лежала завернутая в чистый носовой платок спичечная коробка с эстонской землей, которую он второпях набрал перед тем, как перейти 1 июля границу.)

56

Опять отступаем, чтобы где-то там поредевшим полком встретить новую атаку.

Утомительное продвижение по лесам, болотам, мимо бедных деревень осталось позади, ночью мы вышли на твердую мощеную дорогу. На булыжнике железные ободья орудий начали оглушительно грохотать, нарушив тишину российской ночи

конца июля, потому что позади уже не слышно взволнованного клокотания фронта. Только все небо на западе багровое от зарева пылающих деревень.

Шагаем вслед за своими орудиями. Еле живые от усталости, в ноздрях походная пыль и горький запах дыма. Идем освещенной заревом мягкой ночью, среди пыли и грохота, но когда в минуты отдыха закуриваем на обочине, слышно, как в росной траве совсем по нотам мирного времени пиликают неутомимые кузнечики. Как... наверно, дома, где-нибудь на лугу.

Не мы одни движемся по этой булыжной дороге. Мы идем оттуда, но и _туда_ идут. Время от времени из сумерек нам навстречу выходят спешащие на фронт воинские части, чтобы еще до зари прибыть на место. Сперва на грузовиках рота саперов, за ними противотанковый дивизион. С иголочки новые, с резиновыми скатами сорокапятимиллиметровки, но на конной тяге, как и наши. Упряжки движутся рысцой, солдаты бегут с ними рядом, держась рукой за постромки или за передки. Это не только что сформированная часть, нет, это ребята срочной службы, они уже свое хлебнули, как и мы, сразу видно. О да, вам нелегко придется... Наверняка уже сегодня увидите немало огня и крови...

Потом на какое-то время дорога пустеет.

Сапоги стучат по булыжнику, шпоры позвякивают.

Как-то само собою мы переходим на ритмичный шаг по камням, потом как-то незаметно начинаем шагать в ногу, и тут Рууди вдруг затягивает строевую песню.

Боже мой, в самом деле, ведь уже целую вечность мы не раскрывали рта! И в тот же миг сквозь душную, пропахшую гарью ночь из множества глоток понеслось:

Одна красотка молодая
влюбилась крепко в пушкаря.

Правда, то была еще сразу после призыва выученная, старая наивная солдатская песенка, но в ее мелодии и особенно в припеве бесспорно есть что-то лихое. И мы все почему-то почувствовали, что в нашем пении сегодняшней ночью есть какой-то особый смысл, хотя мы промаршировали уже столько дней и ночей. К черту треклятую войну, дурацкие марши и отступления, ведь где-нибудь, когда-нибудь будут нас ждать любимые девушки, молоденькие и хорошенькие. Если не дождутся прежние, ничего, найдем других. А если нас отправят на тот свет, так все-таки они когда-то были у нас - в Тарту или Таллинне, Нарве или Вильянди, и этого не сможет отнять у нас даже смерть! И, вообще, наперекор всему сейчас мы еще живы и не желаем идти словно выхолощенные бараны!

Орем во всю "мощь своих легких, как бывало когда-то после учений, маршируя в казармы.

Из полумрака навстречу нам шагает враскачку колонна пехоты. Поравнявшись с ней, ступаем особенно четким, грохающим шагом и, как полоумные, выкрикиваем:

А в деревне ждет меня девчонка,
словно нежный розовый цветок
лишь ее люблю на целом свете,
только к ней тоска моя летит.

Головы пехотинцев невольно делают "равнение налево". Хмурое, усталое выражение сменяется любопытством: гляди, какой-то никому не известный, потрепанный в боях полк, в пыли и поту, а - поет! На странном языке и совсем незнакомую песню.

Проходит последний взвод батальона, впереди совсем молоденький лейтенантик. Пронзительно, как молодой петушок, он кричит: "Строевым! Равнение налево!" Рука нашего командира поднимается для ответного приветствия, а мы выпячиваем грудь и, как чудесное откровение, выкрикиваем уже сотни раз пропетые слова.

57

Удивительное существо человек. Другой раз так чего-нибудь захочется, не знаешь, что отдал бы, чтобы твое желание исполнилось. Рууди говорит, иногда ему до того нужны девушки, что хоть скрежещи зубами. А у меня сегодня возникло куда более странное желание, представьте себе, я вдруг захотел хотя бы еще один раз в жизни попробовать хорошего сыра! Желание тем более странное, что раньше я не так уж и любил его. В школьные годы сыр для меня был закуской богатых, и в солдатской лавке я не так уж часто его покупал, предпочитал копченую колбасу.

Но я знаю, откуда пришло ко мне это желание. Дело в том, что именно сыр был праздничной едой для ребят нашей батареи в последний мирный или, если хотите, первый военный день.

22 июня мы находились в печорском Северном лагере. Митинг по случаю начала войны закончился, все были взбудоражены.

- Ребята, давайте устроим что-нибудь!

- Давайте!

У штабных телефонистов были знакомства в офицерской столовой. Там мы достали ящик пива и большую красную головку сыра. Мы побаивались офицеров, и поэтому никто не решался взять сыр под мышку. Потихоньку мы катили ее перед собой между кустами можжевельника, словно это был футбольный мяч.

Мы расположились на берегу озера; откупоривали пиво, уписывали сыр, обсуждали, что теперь будет.

То, что нам тогда предстояло, наступило. Только вот троих из сидевшей там нашей компании с нами уже нет. Будет ли когда-нибудь такое время, когда мы, уцелевшие, соберемся вместе, выпьем холодного пива, закусим сыром и обсудим, как это все _было_?

58

Сегодня произошел адский переполох, хотя сама по себе история довольно обычная, случавшаяся и прежде: вдруг пропала пехота, впереди замелькали немецкие серо-зеленые мундиры. С нашей стороны - сначала шрапнель, потом картечь, потом...

Именно во время этого последнего "потом" погиб Ильмар - автоматная очередь в грудь.

Не хочется мне обо всем этом говорить, ничего там не было отрадного. Потеряли несколько орудий. И скольких ребят, кроме Ильмара, ох скольких... Но о Рууди я должен сказать, особенно об его глазах, когда он стоял на коленях перед Ильмаром, руки в крови, лицо в пыли и копоти, гимнастерка расстегнута, по волосатой груди и по лицу стекают струйки пота. Я не могу забыть его глаза, потому что их невозможно описать, хотя я и сказал, что должен о них говорить.

К вечеру, когда ценою нечеловеческого напряжения мы оторвались от немцев, ко мне подошли Рууди и Халлоп.

Опять мы были в каком-то ольшанике, будь он неладен. Стоял теплый вечер. Тихонько, как и наши расслабленные мышцы и нервы, зудели комары.

У обоих в руках были карабины и скатки, как у пехотинцев, через плечо.

- Есть у тебя хлеб? - спросил Халлоп.

- Есть.

- Дай сюда! А еще что-нибудь из еды - сахар или консервы?

- Есть!

- Давай сюда!

Я отдал. Халлоп положил полбуханки хлеба и горсть колотого сахару в болтавшуюся у него на бедре пустую сумку от противогаза.

- Компас есть?

- Есть.

- Дай сюда!

Я снял с запястья компас. Халлоп сунул его в карман брюк. Рууди сказал:

- Теперь мы пошли.

- Куда? - спросили.

- Домой. Отвоевались. Хватит.

Я встал из-под куста и посмотрел на них. Глаза у обоих были

холодные, полные решимости.

- Подумайте, что вы делаете! Мы так далеко от Эстонии. Перед вами двойной фронт, и шагать вам несколько сот километров...

У Халлопа взгляд был как стекло. Рууди опустил глаза.

- Я, конечно, не могу вам запретить, - сказал я, - только сами подумайте, мы так долго были вместе, столько лиха повидали. Если все начнут бежать, какой же тогда во всем пережитом смысл...

- Выходит, что нет его, - довольно высокомерно отрезал Халлоп. Ухлопают нас всех до одного, а кто в бою уцелеет, тот все равно подохнет с голоду... Мир - это не только какая-то с лоскуток Эстония или эта чертова Россия. Ты ничего на свете не видел, тебе и это вполне годится. А я знаю, что делаю...

И обратился к Рууди:

- Пошли, чего ты еще ждешь!

Молчание.

- Значит, к немцам? Напялишь их мундир, будешь стрелять в нас, наплюешь на тех, кого мы предали земле? - спросил я.

- Ничего ты не понимаешь, сопляк! - взревел Халлоп. - Плевал я на твоих немцев, я на всех плевал, никого я не собираюсь предавать, сыт по горло всем этим собачьим бредом, понял? Я хочу жить по-человечески!

- Живи... если тебе на все наплевать!

- И буду!

И снова к Рууди:

- Чего ты рот разинул? Пошли!

Молчание.

Рууди поднимает глаза.

- Думаю, я все-таки не пойду, - глухо сказал он и просто отошел. Тяжело ступая и не оглядываясь.

Халлоп повернулся и, не подав руки, исчез в кустах, в той стороне, где садилось солнце.

Если человек так поступает, значит, он принял решение, а все остальное для него как блошиный укус.

59

- Ну, хлебайте свой брандахлыст! - сказал Сярель и подал нам с Ийзопом по котелку с чуть теплым супом, который сегодня, кажется, был особенно водянистым. Он сходил на кухню и принес наши порции.

- Волга-Волга, - ворчал Ийзоп и половину супа выпил прямо через край и только потом вынул из кармана ложку.

Однако прежде чем ложка дошла до супа, рука Ийзопа остановилась и подбородком он показал назад:

- Глядите, немца ведут!

Мы встали из-под кустов и начали смотреть. В самом деле, по протоптанной в зарослях дорожке вели пленного: впереди пехотинец, в руке винтовка со штыком, другой, такой же, замыкал

шествие.

Пленный был молоденький, белоголовый солдат небольшого роста. Рукава форменного мундира закатаны, ворот расстегнут, пилотка засунута под погон.

- Слушай, попроси конвой, может, они остановятся, поговори немножко, ты ведь немецкий знаешь, - сказал мне Сярель.

Мы поставили котелки и подошли к ним. Первый конвоир, правда, сказал, что останавливаться и разговаривать с пленным запрещается, но второй оказался сговорчивее. Мы обступили немца: куда он денется, у нас у всех в руке по огнестрельной дубине.

Бедняга был сильно напуган резкой переменой в его жизни и первым задал вопрос:

- Меня расстреляют?

У него не было ни одного знака различия. Кто солдата станет расстреливать. Я ответил: пошлют в лагерь, на работы.

- Кем был до войны? - спросил я.

- Рабочим. Столяр. Из Лейпцига. Мобилизован. На Восточном фронте только вторую неделю. Никого не убивал.

- Что он говорит? - поинтересовались конвоиры. Кое-как перевели мы слезливый рассказ немца.

- Скажи этому паразиту, - сказал конвоир постарше, - нет ему нужды слезу пускать и дрожать, повезло ему. Отвоевался. И еще скажи ему, какой же он пролетарий, если пошел сражаться против государства трудящихся.

Перевел, как сумел, эти слова пленному, у которого от сурового голоса конвоира душа совсем ушла в пятки.

- А что же мне было делать? Меня мобилизовали... Иначе - бах-бах! заныл немец.

Конвойный солдат махнул рукой и прикурил только что свернутую цигарку:

- Известно... заставили да заставили... Сам рабочий, а классового сознания ни на понюшку. Перешел бы к нам, сдался бы в плен, так нет, стрелял до последнего, двоих наших уложил...

Был послан в разведку. Хотел, видать, крест заработать, сопляк...

У Ийзопа остался на ладони ломоть хлеба, который он собирался дать перепуганному немцу, но конвоир удержал его руку.

- Нет, брат, этого я не допущу! Нет к ним жалости! Они бы у наших детей последний кусок хлеба изо рта вырвали.

Он бросил окурок, вскинул винтовку и прикрикнул на немца:

- Пошли, гад! Марш!

Потом через плечо оглянулся на нас и добавил:

- У меня в Ленинграде... бомбой жену и дочку убило...

60

В вечерних сумерках нас обогнала маленькая колонна латышей, одетых в форму бывшей латвийской армии. Френчи с высокими стоячими воротниками, малиновый кант на воротнике, на обшлагах и на карманных клапанах. Петлицы их пехоте менять не пришлось: они а прежде были у них малиновые. Честно говоря, если судить по виду, то особенно лихими стрелками они не выглядели. Может быть, они топали сюда от самой литовской границы. Мы не обменялись ни одним словом, мы смотрели на них, они на нас. Должно быть, понимали друг друга без слов.

И горстку литовцев видели. У них, по нашему мнению, были странные шапки: круглые, прилегающие к голове, сшитые из полосок, спереди козырек, а с боков, загибаемые кверху, теплые наушники. Шли такие же усталые, сами подумайте, они же шагали от самой государственной границы, значит, если угодно, солдаты с самым большим военным стажем.

Все парни девятнадцатого или двадцатого года рождения. Родившиеся во время войны и, выходит, для войны рожденные, как и мы.

Тяжело было на них смотреть, и в то же время будто даже легче стало: есть и другие люди с такой же судьбой, они тоже надеются, что когда-нибудь все же переступят родной порог.

61

Вийрсалу на самом деле смелый командир, ничего не скажешь. Что у него голова так же хорошо варит, как у капитана Ранда или у старшего лейтенанта Рандалу, этого я не думаю, но воюет он, как дьявол, - радостно и со страстью. И везет ему, сатане! Вот сегодня: поскакал налаживать связь, под ним убили лошадь, а сам остался цел и невредим. Если бы просто застрелили, так нет, пуля пробила седло как раз в том месте, где обычно находится бедро всадника. Как же так? А очень просто: Вийрсалу, приподнявшись на стременах, пригнулся. Пуля прошила штанину и седло.

Вечер был облачный и сырой. Мы стояли на опушке молодого ельника и думали, что ночью в глубине чащи разведем костер. Обогреемся и напечем картошки. Она, правда, была еще с глазное яблоко. А все-таки картошка! Койдуле следовало бы в свое время написать не "Землю Ээсти с сердцем эста...", а "Картошку Ээсти с сердцем эста никогда не разлучить!" [строка из стихотворения известной эстонской поэтессы Лидии Койдулы (1843-1886) в переводе Д.Самойлова] Потому что от этого нескончаемого пшенного брандахлыста нас уже так воротит, что словами не скажешь.

- Если вернусь когда-нибудь домой, три дня буду есть одну картошку: буду мять ее, жарить, печь. И только потом, как настоящий мужчина, пойду к девушкам, - заявил Рууди.

- С одной картошки толку от тебя большого не будет, - рассуждал Сярель, - сначала свиным окороком надо заправиться.

- Ну, на здешней баланде женщины в голову не идут... Да и вообще: поставь сейчас рядом миску горячей картошки и смазливую девчонку, не задумываясь, картошку выберу, - ответил Рууди с полной уверенностью.

- А когда картошку съешь, пойдешь девчонку лапать? - съехидничал кто-то.

- Не знаю... Если уж совсем невмоготу станет, - буркнул Рууди без особого воодушевления.

Я заметил, что о доме и о девушках говорить перестали. Если начинался общий разговор, то большей частью про еду и только от нее переходили на дом и прочее.

- Ну ясно, где Рууди, там и женщины! - неожиданно произнес кто-то за нашей спиной, совершенно в разлад с паршивым настроением Рууди. Из полумрака в круг скудного света от нашего маленького костра вступил лейтенант Вийрсалу. На правой штанине у него в самом деле темнела дыра от пули.

- Так молодому мужчине и положено бегать за девчонками, - он весело рассмеялся и подсел к нам. В этом не было ничего удивительного. В артиллерии офицеров относительно больше, чем в пехоте, потому что подразделения здесь небольшие. Поэтому офицеры ближе к расчетам и быстро узнают друг друга.

Вместе поели печеной картошки. Проходя мимо колхозного поля, мы парочку торб, так сказать, позаимствовали. Хороша она была, эта картошка, хоть и мелкая, как глазное яблоко.

- Наелись. Ну как, отправимся теперь к женщинам? - захохотал Вийрсалу, сунул руку в нагрудный карман френча и вынул записную книжку. Он порылся во вложенных в нее фотографиях. - А что, ребята, разве не хороша канашка? - спросил он, передав по кругу фотографию, размером с открытку, сделанную профессиональным фотографом.

Рууди, этот донжуан своей волости, был до глубины души ошеломлен. Он перекладывал фотографию из одной руки в другую, будто это была горячая картофелина, он смотрел и как бы не отваживался смотреть. Вийрсалу молчал и ухмылялся.

Наконец Рууди передал фотографию дальше, только и протянув:

- Ну и ну-у...

Как призрак черт его знает какого мира рассматривали мы фотографию при тусклом свете костра.

На ней был Вийрсалу в парадной форме офицера эстонской армии: в белой рубашке с черным галстуком, на правом нагрудном кармане белый крест выпускной значок военного училища. Очень красивый молодой человек. Рядом с ним, вернее прижавшись к нему, на фотографии стояла тоже очень красивая молодая брюнетка, которую Вийрсалу обнимал за белоснежную шею, и на его рукаве четко различались узкая золотая тесьма прапорщика и офицерская эмблема - золотой герб. Да, но только эта очень красивая молодая женщина была совершенно голая. Она улыбалась радостно и свободно, выставив обнаженные полные груди. Изображение доходило до пупка, и можно было предположить, что и ниже никакого одеяния не предвиделось...

- Ничего, шлюха в самом деле недурна, - сказал Сярель, - а где же можно было сделать такую фотографию?

- А чего там сложного... В отдельном кабинете офицерского казино... Только это совсем не шлюха, эта дама из очень респектабельного семейства. Офицеру запрещалось с публичными женщинами... Фото сделано на пари, небрежно закончил Вийрсалу.

Фотография вернулась к нему обратно, но разговор почему-то больше не клеился.

Улеглись спать. По двое: одна шинель вниз, другая наверх, поверх всего - плащ-палатка от сырости. И получились совсем хорошие постели, потому что можно было подостлать еще и пружинящие еловые ветви.

62

Жизнь у нас ужасающе ограниченна и бесчеловечна: мы на марше, мы окапываемся, мы стреляем, стреляют в нас, мы хороним мертвецов и отправляем раненых. На местность мы смотрим не как люди, а как солдаты: здесь хорошо укрыться, здесь выгодная огневая позиция, здесь подходящее место для наблюдательного пункта, здесь можно напоить лошадей. Ясная погода, это, конечно, хорошо, но она может привлечь на нашу голову немецкие самолеты, поэтому лучше густой туман и облачность.

И язык наш какой-то ущербный и нелепый: далека от нас довоенная жизнь с ее понятиями. Солдатское арго помогает приукрасить наши серые будни, награждая самые повседневные вещи более изящными названиями (перчатки _гляссе_, обмотки - _спирали_), или подняться с помощью грубоватого юмора над этой серостью. Так, хлеб у нас - _торф_, перловая каша - _шрапнель_, снаряд - _ягодка_, командир отделения - _идол_, карабин - _Лиза_. Нам хочется быть и выше самой смерти. А может быть, это унаследованное от предков суеверие - пользоваться вместо

правильных названий какими-то другими, и мы весьма цинично произносим: _вышибли дух, списали в расход, сняли со всех видов довольствия, отошел в лучший мир, тьма подернуло очи_ и так далее.

Мы бедны и ущербны прежде всего потому, что бездомны и лишены любви. У нас нет надежды получить хоть одно письмо от близких, и нам некому его посылать. Но и эта ущербная жизнь, которая у нас еще есть, так же трагически хрупка, как обгоревшая нить. Но мы все же живы, и нам хочется, чтобы наша жизнь имела надежную точку опоры.

Да, живому человеку необходима твердая и какая-то очень материальная точка опоры.

Очевидно, такая точка опоры - дом. Это не только место, которое защищает человека от непогоды, не только место, где он спит и ест, но это и очень важные - даже, наверно, более важные, чем кров над головой, пища и покой - тысячи, казалось бы, самых пустячных мелочей.

У еще живого солдата нет дома. Однако он ему необходим, может быть, больше, чем кому-либо другому. Поэтому солдат создает себе какое-то подобие дома и на фронте. Создает при помощи тех самых конкретных, кажущихся ничтожными, крохотных точек опоры, потому что они его, личные, не казенные.

Дом солдата может, например, уместиться в кармане гимнастерки: несколько фотографий, последнее письмо, чистый, свой носовой платок, зеркальце, расческа. В противогазной сумке Пяртельпоэга лежат чистая, купленная еще в Тарту, тетрадка в уже потрепанной от долгого ношения обложке, штопальная игла и клубочек шерсти, хотя мы уже давно забыли о носках. Ийзоп, как зеницу ока, бережет жестяной портсигар, в который входит полпачки махорки и клочок курительной бумаги, еще есть у него старая кисть для бритья и бритва. Мои сокровища - это выпускной перстень нашего класса, трубка (которую я никогда не курю) и кошелек.

И так, наверно, у всех. Кое у кого из ребят совсем странные предметы, как, например, у сержанта Саарланга. Он почему-то таскает с собой килограммовый гаечный ключ.

Так у каждого из нас какой-нибудь носимый с собою свой дом, очень конкретные и очень личные вещи, глядя на которые или пользуясь которыми мы не солдаты, а обычные, живые люди.

Сюда же относится история с одним из номеров артрасчета Аугустом Малла, который был хорошим солдатом, только очень нелюдимым. Он ни с кем не общался, поэтому у него не было друзей. Если мы из соображений целесообразности спали небольшими группами или по двое, потому что тогда можно было

одну шинель подстелить под себя, а второй укрыться, согревая друг друга, то Малла неизменно спал один. И во время еды он сидел со своим котелком в нескольких шагах от других, и свою самокрутку он сворачивал только из собственного табака и никогда никому его не предлагал. С ранцем он не расставался ни на марше, ни в бою, ни во сне.

- Носит его, как мошонку, - сказал Рууди, - будто он к телу прирос. Интересно, что у него там может быть?

В своем отшельничестве службу в армии с ее коллективным существованием Малла должен был принимать как очень тягостную неизбежность.

Во время сражения, действуя у орудия, Малла выполнял свою работу спокойно и точно. Когда он подавал заряжающему подготовленный снаряд, в его размеренных движениях могло быть что-то, сохранившееся от подачи снопа в молотилку в родной усадьбе. Казалось, что шум боя или нервное напряжение его совсем не касались. Однажды, когда немцы, преследовавшие по пятам отступавшую пехоту, оказались совсем близко и прозвучала команда заряжать картечью, он спокойно продолжал сидеть на своем месте, в то время как остальные прямо извелись от ожидания, когда немцы подойдут поближе и командир взвода крикнет: "Огонь!"

В другой раз, очень рано утром он отошел от позиции немного в сторону за нуждой и потом спокойно, неторопливо вернулся оттуда, ведя перед собой немецкого пленного, который, охая, гримасничая от боли, правой рукой придерживал левый локоть.

- Нельзя стало даже до ветру спокойно сходить, - виновато сказал он командиру батареи, - набросились.

Немец, большой и плотный мужчина, был послан за языком. Вообще-то их было двое. Один из них неожиданно выскочил из густого утреннего тумана и прыгнул прямо на спину присевшему Аугусту. Спас легендарный ранец, остававшийся у Аугуста на спине и во время этой процедуры. Немец попытался надавить ему локтем на горло, но из-за ранца рука оказалась короткой и хватка неуверенной. Август, со спущенными брюками, одним махом вывернул немцу руку в локтевом суставе. Боль была такой сильной, что тот взревел и выронил нож, хотя и держал его здоровой рукой. Второй немец, кинувшийся было на помощь первому, для такого дела оказался, очевидно, слишком зеленым, при виде неудачи напарника он с перепугу ринулся обратно в кусты и, только отбежав на некоторое расстояние, вспомнил про автомат; обернулся и дал несколько очередей. Взвизгнули пули, посыпались листья и ветки, но Август сводил уже последние

счеты с немцем: первым ударом кулака он двинул тому по подбородку, вторым - под ложечку. Здоровый детина упал на колени. Август вырвал у него из рук автомат и отбросил подальше в кусты. Потом, так и не подтянув брюк, встал у немца за спиной на колени и выстрелил несколько раз из карабина по удиравшему герою. Только после этого у Августа нашлось время привести в порядок штаны, и он повел в батарею жалобно стонущего охотника за языком.

Фельдшер Маркус вправил оравшему немцу сустав.

Август Малла сидел в это время один на лафете и молча хлебал суп, костяшки пальцев были в ссадинах.

Однажды все же Август Малла забыл свой ранец. Не в каком-нибудь нервном смятении или суматохе боя, нет, ничего похожего. Забыл, наверно, просто по рассеянности, ведь у каждого человека могут случиться минуты расслабленности. Он вздремнул после обеда, положив ранец под голову, потом встал и пошел к протекавшему неподалеку ручью. Ранец остался лежать.

- Ну, сейчас поглядим, какое такое золото таскает с собой Август, сказал Рууди и открыл ранец. Мы все окружили его.

Там была смена чистого летнего белья, мыльница, полотенце, портянки. Обычное солдатское имущество, ничего особенного. Только уж почти совсем на дне, так что если ранец надеть, то на теплой солдатской спине оказывалась пара комнатных шлепанцев, какие в мирное время разрешалось после вечерней поверки носить в казарме. И еще - пара больших теплых, серых с узором варежек, какие умеют вязать только матери. Мягкие, уютные и милые, как тепло домашней печки, прямо будто ласковый дух низких деревенских комнат.

Рууди молча застегнул ранец. Мы разошлись, не отпустив ни одной шутки.

(Я никогда не узнал, что 19 марта 1945 года старший сержант Август Малла, будучи командиром орудия противотанковой батареи стрелкового полка Эстонского корпуса, погиб в Курземе близ мельницы Каулаци. Его медали, орден Отечественной войны II степени и два ордена Славы III и II степени взял командир батареи, чтобы переслать родным, но через два с половиной часа сам погиб в том же месте, и награды Августа Малла пропали, как пропали и его шлепанцы и серые с узором варежки.)

63

Сегодня мы шли обратно на запад, где-то немцу здорово наступили на пятки и, чтобы заткнуть дыру, он оттянул войска отсюда. Это первый такой случай, и как-то даже странно снова идти знакомой дорогой, на которой еще не остыли следы немцев.

Их следы встречаются довольно часто. Ну, у них, видно,

твердый порядок. Здесь, на деревенской дороге, множество небольших кострищ, расположенных в строгом строю: какое-то пехотное отделение явно что-то варганило для себя в котелках. Очевидно, то были куры, потому что вокруг все белело от перьев.

Кстати, в деревнях нас встречает только несколько куриц с душераздирающим криком. Выходит, условный рефлекс при виде солдат может возникнуть очень быстро даже в крохотном курином мозгу. Однако требовать от кур, чтобы они еще знали цвет мундира и знаки различия, по-видимому, нельзя.

В следующей деревне две старухи в валенках рассказали, что сюда на грузовиках приезжали солдаты, обшарили все без исключения избы и все шерстяные тряпки забрали с гобой.

Но в деревне, последней перед линией фронта, мы все просто онемели, вся полковая колонна. У проселка на развесистой липе висели два повешенных босых русских старика в ситцевых рубахах.

Почему? За что?

- Видите, что такое немцы! - говорит капитан Рулли.

- Нет, это фашизм, - поправляет его Шаныгин.

Останавливаемся. Хороним старичков под этой самой липой. В светлое августовское небо грянуло три залпа из карабинов.

Идем дальше. На передовую.

64

Сама по себе эта история не столь уж знаменательная.

Капитан Ыунап из штаба взял меня в качестве провожатого, мы пошли во второй дивизион. Вернее, к тем пяти-шести орудиям, которые остались от этого дивизиона. Позиция, по моему разумению (если мое разумение, вообще, чего-нибудь стоит!), была на редкость скверная: орудия стояли на открытом заливном лугу, замаскированные охапками луговой травы, они казались причудливыми ворохами сена. Окопы неглубокие - только на два-три штыка лопаты, иначе их заполнила бы вода.

Как часто можно прочесть в школьных сочинениях: погода стояла хорошая, светило солнце, пели птицы и цвели цветы. Было относительное затишье, уже второй день после нашего первого перехода не трогаемся с места. Немец действительно свои войска отсюда отвел, чтобы заткнуть дыру где-то в другом месте, и оставил незначительные силы только для прикрытия, которые наступления не предпринимали.

Однако и у нас не было достаточных сил, чтобы предпринять что-либо со своей стороны. Так мы стояли нос к носу и, образно выражаясь, потихоньку урча, скалили друг на друга зубы.

Только мы с капитаном подошли к огневой позиции, как с востока в ясном небе загудел самолет, потом второй и третий.

Элегантными кругами они облетели передовую. Тут первый заметил нашу злосчастную маскировку и взял курс прямо на пушки. Знакомая история: пикирование, затем огонь бортового оружия, а за ним бомбы, после чего сопровождаемый ревом выход из пике и повторный сеанс. Был бы он один, а то сегодня их три. Они пикировали один за другим, почти непрерывно ныряли и - что ужаснее всего - безнаказанно, потому что никакой противовоздушной обороны у нас не было.

Когда первый самолет с ревом ринулся над нашими головами вниз, мы с капитаном посмотрели вокруг, где бы залечь.

Было только одно хоть в какой-то мере стоящее место: окоп телефонистов огневой позиции в пяти шагах от нас - все остальное - открытые и ровные пойменные луга. Разумеется, мы сообразили это одновременно. Но дело в том, что, как уже сказано, этот окопчик был очень мелким и его по самую бровку заполнил телефонист, иначе говоря: человек выкопал окоп по своему росту, толщине и ширине и теперь ютился в нем, примостив телефонный аппарат возле головы. Укрыть мог еще бугорок земли на краю окопа. Сверху, разумеется, летчику все видно, как на ладони. А все же... Мы с капитаном нацелились на одно и то же стоящее место. Но я, понятно, моложе капитана и действовал быстрее, через секунду я лежал ничком на спине у телефониста Вряд ли ему это было удобно, но я служил ему весьма надежным прикрытием от осколков, так что он из-за меня и ухом не повел.

Капитан растянулся на несколько метров подальше, в высокой луговой траве.

И тут-то и началась эта, честно говоря, страшная карусель. Треклятые стервятники делали небольшой круг и по очереди входили в пике, не давая, что называется, ни отдыху, ни сроку. Они пикировали так низко, что виден был летчик в кабине, не говоря уже о номере самолета и изображении железного креста на хвосте и под крыльями. Все происходило как по писаному: сперва огонь бортового оружия, потом воющие бомбы. Самое страшное заключалось в том, что мы глазами следили за бомбами, нам оставалось только ждать, угодит или пролетит мимо. И так на протяжении двух часов, потом у них, очевидно, иссякли гостинцы и они, гудя, скрылись на западе. Безнаказанно, разумеется.

В результате этого дьявольского нападения оказалось все же, что у страха глаза велики. Все мы остались целы и невредимы, нас только заляпало грязью и оглушило. Капитан потирал спину: в нее угодил здоровый булыжник. Только один паренек был невменяем и кричал, когда его уводили: его тяжело контузило,

изо рта, из носа и ушей капала кровь. Все орудия сохранились, хотя от осколочных ударов они стали пестрыми. Телефонист, которого я братски прикрыл своим телом, даже не запачкался.

Потом, когда мы с капитаном возвращались обратно, у нас гудели от контузии головы и звенели сосуды, всю дорогу мы молчали. Во-первых, мерзко и унизительно чувствовать, что тебя могут убить так же просто, как теленка или овцу. Во-вторых, если уж такое возможно, то жизнь рядового солдата стоит ровно столько же, сколько жизнь капитана. Так, по крайней мере, считал я.

Конечно, порядочному солдату следовало бы заставить капитана броситься на телефониста, а потом уж самому влезть на закорки капитану, так ведь?

Была бы восхитительная картинка, и я усмехался, представляя ее себе.

С другой стороны, капитан вызвал у меня уважение: гляди-ка, дал солдату пойти в укрытие, а сам остался на открытом месте. Да и не подобало бы ему лежать животом вниз на солдате, как-никак офицер. Или заложенным в нем чувством собственного достоинства намного превосходит тебя. Или еще иначе: он просто храбрее тебя, он не думал о спасении собственной жизни, как это было с тобой при твоей трусости.

Такой поворот мысли усмешки больше не вызывал.

Мы вернулись в штаб, не обмолвившись ни единым словом.

В конце концов я успокоился, придя к такому решению: если бы в нас попало, этот мелкий окопчик не спас бы ни меня, ни телефониста. Если бы убило нас всех вместе с капитаном, никто не стал бы больше рассуждать о том, кто храбрее или чья жизнь стоит дороже.

Это было очень хорошее решение, и на душе у меня сразу стало спокойно.

65

В сегодняшнем сражении наша батарея лишилась второй пушки, с которой мы пережили горячие дни, когда были новобранцами, с которой потом ребята проходили обучение в предвоенные дни, с которой мы ездили на октябрьский и майский парады, которая по самые ступицы увязала у нас в сыпучем песке печорского Северного лагеря. С нею мы до сих пор вместе воевали, начиная со дня нашего первого сражения, мы на руках вытаскивали ее из болот и трясины.

Ее просто разбили. Да, она погибла в честном бою, как еще до нее погибли некоторые наши ребята.

Ведь пушка вовсе не безжизненная железная махина. Она умна и поэтому терпеть не может глупого солдата. Она требует к

себе заботы и любви. В сущности, она душа и божество расчета, ей служат, стараются выполнять все ее желания, ибо без нее перестанет существовать коллектив, сердцем которого она была. Останутся одинокие люди, не знающие, что им делать и для чего они нужны.

Ребята сняли затвор и закопали его, забрали панораму, хотя она была повреждена. Они гладили холодное серое железо, притрагивались к разбитым спицам и покореженному щиту. Простились.

Сколько осталось воспоминаний - больше двух лет службы и два месяца войны! В самом деле, что же делать дальше? Кому нужны артиллеристы без пушки?

Последним от погибшей отошел командир орудия Саарланг. У парня глаза были мокрые, и он нисколько этого не стыдился.

66

Сырое облачное августовское утро. Болотистый лес, мокрые веточки голубики и черники рисуют причудливые узоры на пыльных сапогах.

Все, кто свободен, с припухшими от сна глазами торопятся на маленькую поляну, где идет экстренное построение.

- С оружием, становись! - такая была команда. Никто не знает, что произошло. Может, опять мы в каком-нибудь кольце, может, опять нужно прочесать трясину, может, где-нибудь поблизости сброшен немецкий десант?

Строимся подивизионно. Надо же, как мало нас осталось... В каждом дивизионе ребят будет, пожалуй, на батарею... Правда, здесь мы не все. Возле каждого орудия осталось по два-три человека, отсутствуют дежурные телефонисты и разведчики наблюдательных пунктов, нет повозочных. Но, гляди, даже повар и новый полковой писарь явились.

Идет комиссар полка Добровольский, идет седоголовый симпатичный врач, который в мирное время служил в Риге.

Что случилось?

Пограничник ставит перед строем человека, на котором нет поясного ремня, у которого с пилотки снята пятиконечная звезда.

Теперь мы видим: шагах в тридцати впереди нас груда свежего песка, и мы понимаем, что это песок из только что выкопанной могилы. Этот человек медленно шагает к песчаной горке, пограничник с автоматом наизготове за ним.

- Стой! - командует конвойный. Человек останавливается.

- Нале-во! - кричит пограничник.

Но человек уже ничего не понимает. Он уже мертв.

Тогда пограничник толкает его стволом автомата, и человек без ремня и без звездочки становится к нам лицом.

- Полк, смирно! - командует комиссар.

Человек перед строем белый, как мел. Глаза на заросшем лице смотрят поверх нас. Он не видит строя, не видит низкорослых болотных сосен, он не слышит, наверно, и вынесенного ему трибуналом приговора, который комиссар нам зачитывает. Последние секунды жизни... Смотрю на Рууди, он рядом со мной. Он судорожно держит карабин у ноги и смотрит на носки сапог. Челюсти Ийзопа плотно сжаты, а глаза устремлены вдаль, поверх свежей могилы, поверх человека, которого сейчас расстреляют перед строем, поверх комиссара и пограничника.

Соломкин Игнатий Иннокентьевич, 1916 года рождения, по происхождению крестьянин, санинструктор, задержан после того, как трое суток прятался в лесу. Следствием установлено, что самовольно оставил часть во время боя, не выполнил своего прямого воинского долга, не оказал помощи раненым. Приговор трибунала: смертная казнь через расстрел.

- Приговор привести в исполнение! - командует комиссар. - Кру-гом! кричит пограничник.

Теперь приговоренный стоит спиной к строю, лицом к своей могиле.

Пограничник поднимает автомат.

Коротенькая очередь в спину.

Человек падает. Совершенно беззвучно, с опущенными вниз руками, лицом на влажный песчаный холм.

- Врач!

Симпатичный седоголовый доктор становится перед трупом на колени. У него дрожат руки, когда он берется за запястье казненного, чтобы удостовериться, действительно ли нет пульса. Он еще прикладывает ему к груди руку, приподнимает веки, потом встает с колен и рапортует, что человек в самом деле мертв.

Пограничник сталкивает труп через груду песка в яму и заранее приготовленной лопатой начинает зарывать могилу.

Мы маршируем обратно. Молча, сквозь мглистое августовское утро.

Таков был твой конец, Соломкин Игнатий Иннокентьевич.

- Кто его знает, как все было на самом деле, - рассуждает потом Рууди. - Мы ведь все знаем, что произошло перед тем, как он пропал: внезапная атака на привале во время марша... Может быть, грохот сражения разбудил его, когда он спал, и он на какой-то момент потерял голову и бежал. Помните, полк тоже сразу стал отступать, он не сумел догнать его и бродил по лесу, пока не поймали.

Да, понять его можно было бы... Но обвинение содержит один тяжелый пункт: не оказал помощи раненым, задержан без санитарной сумки...

В самом деле, по-человечески все это, может быть, и можно понять. Но война с начала и до конца бесчеловечна, здесь другие законы, по которым мобилизованный санинструктор Соломкин, которого мы, честно говоря, и не знали, предстал перед трибуналом.

Очень тихо было сегодня в полку. Разговоры самые короткие, обменивались только необходимыми словами... Какой-то гнетущий, этот удушливый туман и...

Может быть, сегодня стоял перед свежевырытой могилой и дезертир Халлоп и тоже получил очередь между лопаток?

Однако нет.

(Мы не знали, что к этому времени Вальтер Халлоп дошел до Изборска и прямо по дороге ему навстречу ехал грузовик с людьми, у которых на рукаве были повязки. Халлоп отдал поясной ремень с патронташем и карабин. Заправив гимнастерку в штаны, он рассказал им, откуда шел. Его с интересом выслушали, угостили табаком и самогоном Начальник этих людей с повязками, в мундире Кайтселийта, написал ему записку, согласно которой Халлопу разрешалось идти домой в Виймсискую волость Харьюского уезда. Начальник достал из кармана даже некое подобие печати, завернутой в тряпицу, и приложил к удостоверению. Халлопу посоветовали не двигаться по большим дорогам и раздобыть гражданскую одежду. В Тарту, мол, красных уже нет. Ему еще сказали, что когда он придет домой, то должен сразу же вступить в Омакайтсе - отряд самообороны. Не то начнут копаться, тогда несдобровать. Теперешнее время такое смутное, что заработать пулю ничего не стоит, но они здесь, мол, с эстонскими дезертирами историй не устраивают. Так обстоят дела. А может, он сразу примкнет к их отряду и отомстит за свои страдания? Они намереваются в скором времени перетрясти русские деревни. Вот смеху-то будет! Потеха! Однако Халлоп повернулся и пошел дальше, а на пыльную дорогу полетел горький от самогона плевок. Он прошел немного, обернулся и посмотрел назад, рукой заслонив глаза от солнца. Только ли от солнца?

Потому что, находись кто-нибудь рядом, он увидел бы, как в уголках глаз голодного, запыленного и обожженного солнцем дезертира что-то как будто дрогнуло...

И мы никогда не узнали, что Халлоп долго увиливал от мобилизации в немецкую армию, стараясь найти в Таллине работу с бронью, в порту или на железной дороге. И тем не менее

весной 1944 года он уже не смог больше спастись от легиона. В июле, когда наши войска совершили прорыв под Нарвой, Халлоп опять хладнокровно дезертировал.

Но на этот раз где-то в лесу он напоролся на двух фашистов. Из одного он сразу же вышиб дух, но другой выпустил ему в живот целую автоматную очередь. На следующий день наши танки переехали оба трупа.)

67

Капитан Ранд вернулся в полк. Пешком, с почти дочерна обгоревшим на солнце лицом, небритый и сильно отощавший, но как всегда - стройный и спокойный.

Да, он действительно был в Новгородском трибунале по обвинению в распространении морально разлагающих настроений. Десять дней почти без пищи и воды он просидел в подвале и ждал решения своей судьбы.

Но трибунал его оправдал. Это - действительно чудо! И вот он прошел пешком долгий путь, он страдал от голода, сворачивал самокрутки из найденных на дороге листовок и неисчислимое количество раз предъявлял документы.

В полку он не остался, его командировали в Москву и перевели на другое место службы.

- Раннасте, где мой чемодан? - крикнул он старшине, который, по-видимому, меньше всего ожидал этой встречи, ибо на нем были абсолютно новые капитанские брюки из материи в рубчик. Несколько, правда, ему не по росту, но бесспорно элегантные.

- Немедленно в кусты, брюки снять!

Мы захохотали во все горло.

Он получил свои брюки от Раннасте, сразу же после этой сцены куда-то убежавшего, и все остальные вещи, розданные другим. Ранд простился со всеми офицерами, пожал руку каждому солдату старого призыва и, не оборачиваясь, ушел с потрепанным чемоданом в руке.

(Я никогда не узнал, что Ранд окончил войну уважаемым подполковником и умер много лет спустя в своем родном городе, где его терпеливо дождалась жена.

Старшина Раннасте, позже - младший лейтенант Раннасте, командир взвода одного из стрелковых полков Эстонского корпуса, погиб в 1943 году под Торопцом в результате несчастного случая, напоровшись во время тактических учений на старую немецкую противопехотную мину. Его жена, которая по-прежнему жила в Тарту около бывших Лембитуских казарм, во время войны, будто бы, легко меняла мужей, или, как говорят женщины с улицы Яама, стала попросту шлюхой.)

68

Сегодня к нам привезли на машине пожилого мужчину в военной форме, у которого был с собой штатив и чемодан. Оказалось, что это фотограф. Кроме лейтенанта Рокса и старшего лейтенанта Рандалу, он никого и ничего не фотографировал. Мы не могли понять, зачем это нужно, но Сярель объяснил, что снимки нужны для партийных документов. Рокса и Рандалу приникают в партию.

Мы просили этого человека, чтобы он снял и нас, просто так, на память, но нас он даже не выслушал.

69

Опять листовка: окружен Ленинград, горит со всех сторон. Падение города - вопрос дней. Если хотите еще что-нибудь в городе спасти, сдавайтесь. Сопротивление бессмысленно. Подумайте о женщинах и детях.

Сярель понес листовку политруку Шаныгину.

- Знаете, ребята, немец, правда, под Ленинградом, никуда от этого не денешься. Сообщение Информбюро. Но этот город немцам никогда не сдадут. Никогда, понимаете... Вы, может быть, действительно еще не в состоянии этого понять. Вы, может быть, на самом деле...

Он запнулся и искал слова. - Это колыбель революции, понимаете, там родилась Советская власть... Это город Ленина! Там будут бороться до последнего, нога немца в тот город не ступит, поверьте мне!

От гнева лицо у него побагровело, он в клочья разорвал листовку и втоптал в грязь.

70

Сегодня похоронили комиссара полка Добровольского. В гробу, сколоченном из неизвестно откуда добытых досок, в сопровождении салюта из карабинов и пистолетов и орудийных залпов.

Убит он был осколком снаряда при случайном огневом налете. Не было никакого сражения, и комиссар находился не на огневой позиции или наблюдательном пункте, а, наоборот, в тылу полка. Там он теперь часто бывал, он приказал вырыть для себя укрытие, где и проводил большую часть времени и где его довольно часто навещал тот пригожий врач, о котором была уже речь.

Так было и на этот раз.

Роль случая на войне всегда велика как в удаче, так и в невезенье. Комиссар вышел из своего укрытия помочиться, и тут его настигла судьба. Какая-то уж совсем неподобающая для такого человека смерть, не правда ли?

Как теперь подумаешь, по-своему, это была фигура трагическая. Кто знает, то ли он не смог приспособиться к новой обстановке, ожидавшей его в нашем полку, то ли не пожелал. Склоняюсь к последнему, потому что он явно принадлежал к тем людям, которые, однажды освоив линию поведения, придерживаются ее до конца. Очевидно, он был из тех людей, которые считают, что они никогда не ошибаются.

Его принципиальность проявлялась прежде всего в суровости. При этом одной из составных частей этой принципиальности было сильное чувство недоверия, которое порой наносило ему очень болезненные удары, потому что нередко он доверял тем, кто его подводил, а люди, которым он не доверял, часто как раз и оказывались достойными доверия. Он непоколебимо верил, что с самого начала войны Красная Армия в силах бить фашистов на их собственной земле, и, очевидно, наше непрерывное отступление он переживал тяжелее, чем кто-нибудь другой. Но и тут он явно не мог допустить, что ошибался, не мог найти убедительного объяснения происходящему и отсюда твердой линии поведения, которое служило бы поддержкой ему самому и другим. Оставалась все та же строгость, неослабевающая суровость и пугающее недоверие. Все это ставило комиссара на особый уровень, делало его выше других. Его боялись все, включая и командира полка Пожалуй, он понимал свою обособленность, и это еще больше усиливало его разочарование. Наверно, именно это толкало его искать человеческой близости там, где меньше всего можно было от него ожидать: у женщины.

Наверняка, суровость, которую он называл революционной, была необходима и обусловлена к тому же недоверием, а его верность принципам заслуживала уважения. Хотя, с нашей точки зрения, все это было каким-то внешним и абстрактным, потому что в нас и наших сердцах он разбирался не больше, чем коза в аптеке. К нам он относился соответственно освоенной им теории и своим убеждениям, как к явлению, лишенному живой плоти.

Его похоронили отдельно. На холмике, под одинокой молодой-березой.

71

Спустя долгое время наша батарея снова громыхала железными ободьями по мощеным городским улицам Это был маленький городок, целые кварталы которого рассыпались от сплошного огня. Тучи извести от бомбежки, дым и огонь пожаров вызывали кашель. Наши упряжки, подпрыгивая, рысцой двигались по уцелевшим улицам, расчеты, держась за передки и лафеты, бежали рядом. Вдруг где-то недалеко грохнул глухой взрыв, вскоре и в без того густом воздухе возник еще один острый запах,

который все усиливался.

Довольно быстро выяснился источник этого странного запаха: по желобам сточных канавок журчали веселые ручейки спирта, пританцовывая неслись стебельки сена, окурки, катыши конского навоза. На спирто-водочном заводе были взорваны огромные цистерны спирта.

Один пехотинец уже нагнулся и зачерпнул котелком из канавки.

- Пошли пировать, кули! - сообразил теперь и Рууди, он схватил с передка свой котелок, отвязав его от ранца. В ход пошли фляги и кружки, видавшие виды сапоги захлюпали по канавке.

- Отставить, дьяволы! Отставить! - как всегда разобрался в обстановке находчивый лейтенант Вийрсалу. - Увижу хоть одну пьяную рожу, расстреляю собственной рукой!

- Товарищ лейтенант, выпить ведь не значит напиться, - возразил Рууди, придерживая на поясном ремне флягу в промокшем войлочном чехле.

- Вылей вон, тебе сказано! - прикрикнул лейтенант.

- Так точно! - рявкнул Рууди и затрусил вслед удалявшейся упряжке, все так же с котелком в руке. - Я только, чтобы коня смазать, - бросил он через плечо.

Не было нам отпущено времени смазать ни себя, ни коней.

Горящий город остался позади, появилось капустное поле, мы свернули по шоссе на северо-запад. Справа осталась река с ее берегами, заросшими ивовым кустарником. И вдруг раздалась команда.

- С передков!

- Что случилось?

Мы остановились на открытом пастбище, лицом к орудиям, направленным в сторону городка и капустного поля.

Огневая позиция?

Да, оказалось, огневая позиция! Посреди песчаного пастбища, под совершенно ясным небом. Боже милостивый, на войне мы уже кое-что повидали, но... Достаточно появиться одному-единственному бомбардировщику - и батареи не станет. И в какого дьявола мы будем здесь стрелять?!

Но приказ есть приказ. Теперь в ход пошли лопаты: те, что у нас были раньше, и те, которыми мы разжились в деревнях. Быстро рыли щели, при воздушной атаке только в них можно было в какой-то мере укрыться. К счастью, земля была рыхлой, мы копали в невероятной спешке, по очереди сменяясь, и через полчаса доходившие до пояса норы были готовы.

Впереди на окраине города шум боя усиливался.

По-видимому, город был уже у немцев.

Через проходные дворы и огороды группами отступала пехота. Ее собрали, она развернулась в цепь и теперь перебежками отступала к капустному полю. Из прибрежного ивняка рядом с нами сомкнутым строем с винтовками на ремне выбежало на поле два-три взвода и тут же тоже развернулись в цепи. Отсюда, где стояли орудия, было хорошо все видно: до окраины города меньше километра и местность ровная, как стол.

Мы забрались в укрытия, потому что шальные пули все чаще стали свистеть над головой.

Из города шли в атаку зеленые, как лягушки, отряды немецкой пехоты. Они стреляли с руки, бросались плашмя и перебежками продвигались дальше. Наша цепь ответила огнем.

Мы стали стрелять по атакующим шрапнелью. Не знаю, был ли от этого прок, да нам и не пришлось долго стрелять, потому что тут, ну просто как в фильме, произошло следующее.

Цепь нашей пехоты поднялась и с криком "ура-а", со штыками наперевес бросилась навстречу. Но не все сразу решились ринуться врукопашную: было видно, как оторопело топчутся отставшие Поднялась и немецкая цепь - и у них оказались такие, что один на один идти побоялись. Скоро завязался рукопашный бой, слышны были только отдельные выстрелы. На капустном поле и у самых огородов перемешались отдельные солдаты и небольшие группы наших и немцев. Впервые в жизни мы видели такой отчаянный штыковой бой: холодным оружием человек убивал человека. Мы смотрели с ужасом, но не могли отвести глаз.

В результате контратаки немцев отбросили в горящий город, а спустя час мы опять стреляли прямой наводкой по огородам и краю капустного поля, чтобы прикрыть нашу опять отступавшую пехоту и прижечь наседающих немцев.

Потом был получен приказ отступать, и в косых лучах вечернего солнца мы потянулись по пыльной дороге вдоль реки и свернули на мост.

Было самое время оставить нашу открытую позицию, потому что сзади уже вспахивали землю огневые удары немецких минометов.

Перед нами перешли реку раненые пехотинцы, герои штыкового боя. Те, у кого ноги были целы, прошли мимо нас с ничего не видящими глазами, в растерзанном обмундировании, с пропитавшимися кровью повязками. Казалось, что многие из них были запачканы не только своей кровью.

Один совсем молоденький мальчик получил удар немецким штыком слева под мышкой, из раны сквозь бинты на пыльную

дорогу капала кровь. Он еще не вышел из шока - узенький подбородок в светлом пушке дрожал, из остекленелых глаз катились беззвучные слезы. Может быть, сегодня первый раз в жизни ему пришлось убить человека, да еще таким первобытно жестоким способом.

Мы перешли реку, протащились еще километров пять и остановились на ночлег в сосновом молодняке. Мы даже не слышали, когда нас позвали ужинать. Пришлось звать еще раз.

И тут Рууди вдруг стал непристойно ругаться.

- Чертовы задницы, в котелке пусто, как у шлюхи за душой!

Только теперь мы вспомнили про спирт! Что ж тут удивительного, кто же во время сражения будет ровно держать котелок, счастье еще, что он вообще не пропал.

- Чего ты горло дерешь, фляга-то у тебя цела! - закричали ему в ответ. Это несколько умерило гнев Рууди, фляжка висела у него на бедре.

Наверно, никто из нас прежде спирта не пил. В сущности-то нам пить и не хотелось. Но солдатское сердце должно быть твердым, и под пшенный суп и ломоть хлеба каждый отхлебнул большой глоток тепловатого спирта.

- Дерьмом отдает, - заметил Ийзоп, - не иначе как вместе с конским навозом в бутылку набрал?

- Ну и что, - ответил Рууди, - спирт дезинфицирует, - и, крякнув, уже со слезой в глазах, отхлебнул второй раз.

Крепкий напиток обжег пустые внутренности, потом сбежал в усталые ноги, сделал виток и ударил в голову. Сярель отказался от второго и третьего круга, побледнел и исчез в кустах. Рууди раскраснелся, расстегнул гимнастерку и, видимо, хотел сказать что-то удалое, но, махнув рукой, растянулся на шинели и уставился в меркнувшее небо. Молчали и остальные, хотя спирт уже шумел в голове. Все мы мысленно смотрели назад, на открытое капустное поле и хрипевших людей, занимавшихся смертоубийством, и на залитых кровью раненых, которые этой ценой вышли живыми из бойни.

- Как хорошо, что мы в свое время попали в артиллерию, - пробормотал Ийзоп, - конечно, от службы в конюшне и обучения верховой езде радости было мало, а только что бы мы делали сегодня там, на капустном поле...

- Прикажут, так пойдешь и будешь штыком колоть, - послышалось в ответ.

- В том-то и дело, в батарее есть надежда, что колоть не придется. У карабина нет штыка.

Наступило молчание. Это верно. Но не это главное. Мы думаем совсем о другом. Думаем об убийстве человека. Дьявол

его знает, как гуманнее вынуть из него душу - снарядом или штыком? Нет, нет и не это, - гудит в наших захмелевших головах, зачем, вообще, нужна эта гнусность?

Нет, наверно, и это не главное. Мы воюем, потому что мы _должны_ воевать, дурак и тот видит, что здесь ценою жизни защищают каждый вершок капустного поля. Только что станет с нами, если мы видим и участвуем в этом сегодня, и завтра, и послезавтра? Неужели привыкнем и научимся так же, как они там, действовать наподобие ремесленников: по часам утром начинать и вечером кончать, аккуратно соблюдая обеденный перерыв? Или сумеем все-таки остаться людьми? А если не сумеем? Кто сумеет? Кто не сумеет?

Не знаю, все ли так думали, может быть, кто-нибудь думал и совсем о другом, а может, и вообще не думал, только почему же стояла такая тишина, ведь мы все выпили.

- Ну, ладно, - нарушил молчание Рууди, - найти бы еще чего-нибудь покрепче...

- Ну и что? - спросил я.

- Не знаю... пил бы, должно быть, пока не сдох. Малость не допил. До чего же чертовски душа выпотрошена, на трезвую голову будто и не понимаешь... Сердце, зараза, болит...

- По дому? Так чего ж ты в тот раз не ушел с Халлопом?

Молчание.

- У Халлопа нету дома... Дьявол его знает, где он бродяжничал...

- Ты из-за Ильмара остался?

Молчание.

И вдруг сдавленный крик:

- Чего ты, черт тебя дери, в душе у меня копаешься!

Ладно, пусть сердце болит, значит, оно еще есть у тебя. Но сердце солдата так велико, что, наверно, должно вместить в себя всю мировую боль и все мировые беды. А если не вмещает?

Ладно. Будем спать. Завтра опять день на войне. Хорошего ждать от него не приходится. Ох ты, сердце, сердце...

72

Сегодня отправили двух раненых. Один - это Юло Лахе, из полковой разведки, переведенный к нам из бывшего кавалерийского полка. Мы мало его знали, но он располагал к себе: очень общительный, от природы веселый и азартный. Вчера и сегодня он ходил в трудную разведку. Вчера под ним застрелили двух коней, сам же он остался цел, а сегодня было иначе: ранило Лахе, и лошадь принесла его, истекающего кровью...

Вместе с ним отправился лечить раненое бедро сверхсрочник

Кяпа из штаба полка, прежде служивший на бронепоезде, его ранило во время воздушного налета. Оба сидели теперь в нашей старой коляске, как некогда полковник. На животе у Кяпа была гитара, и, дергая струны, он напевал:

Германия, Германия,

великая, говняная!

Эта веселая песенка была, очевидно, собственного его сочинения, по крайней мере слова, потому что мелодия сильно смахивала на штраусовский вальс "Сказки венского леса".

(Больше я ни того, ни другого не видел, и так и не узнал, что старший сержант Лахе погиб в ноябре 1944 года в деревне Торгу на полуострове Сырее от крупнокалиберного снаряда с немецкого военного корабля. Кяпа осенью того же года, прихрамывая на одну ногу, вернулся в Эстонию, и его назначили директором хлебозавода в одном полностью разрушенном городе. И поскольку он куда более усердно занимался женщинами своего предприятия, чем мешками с мукой, не известно, сколько он на этой должности продержался. Этот веселый инвалид войны и дальше шел по жизни, как по ржи.)

73

Опять свист и грохот, визг осколков, треск ветвей, вихри земли и грязи. Только на этот раз раненые не зовут на помощь. Людей так мало, что и немцам, видимо, не просто в них попасть...

- Давай снаряд, черт тебя подери, чего ждешь!

- Не ори, это предпоследний!

Командир второго орудия (в батарее осталось только два!) младший сержант Пяртельпоэг умолкает, заметно помрачнев.

Руки у наводчика дрожат. Он весь в поту, пилотка засунута за голенище. Снаряды кончились, а что еще предстоит, одному дьяволу известно. Он механически проверяет отметки угломера, прицела и уровня, притрагивается к знакомым барабанам и рукояткам. За щитом их только трое: командир орудия, наводчик и замковый.

Огнем немецких минометов позиция до того перепахана, засыпана ветками, комьями земли, залита грязью, что это просто чудо, что здесь кто-то еще остался жив и каким-то образом покореженные осколками орудия еще способны подавать голос.

Безнадежна эта дуэль, думает Пяртельпоэг, минометы никогда не накроешь, наверняка они где-нибудь за возвышенностью. Считай, что еще сильно повезло: немец тоже бьет почти наугад, и хорошо, что линия связи с наблюдательным пунктом не нарушена. Впереди сам командир батареи Рандалу, он, несомненно, хороший артиллерист, но ведь и он чуда не сотворит. Без хорошей карты, без всякой предварительной

разведки, без пристрелки, попробуй, попади.

Наступает тишина. Больше ни одной мины. Но тишина во время боя почти всегда скверное предвестие.

- Прекратить! - орет оглохший телефонист из своей норы. - Прекратить! Больше ни одного щелчка!

- Да и нечем больше стрелять, - бурчит Пяртельпоэг.

В ушах гудит. Но все же они скоро улавливают очень страшные звуки: урчание танковых двигателей и лязг гусениц справа. Там проходит неплохая щебеночная дорога, метрах в пятистах от нас.

Так. Значит, конец?

- На передки! - орет теперь телефонист. - Живо! Он выскакивает из своей норы и срывает провод с клемм.

На огневой позиции нет ни одного офицера и младший сержант Пяртельпоэг за старшего - за лейтенанта. Вийрсалу часа три назад продырявили плечо, и его передали эскулапам.

- Ты сам теперь давай, лети за упряжками! - кричит Пяртельпоэг телефонисту, потому что другой связи нет.

Проходят томительные минуты.

Почти одновременно впереди появляются старший лейтенант Рандалу с телефонистом и разведчиком, который тащит на спине тяжелую стереотрубу, а из зарослей, с треском ломая ветки, вылезают передки.

Танки на дороге, уже поравнялись с нами. Время от времени они постреливают из пушек и пулеметов. Наверно, кого-то из наших видно с дороги. Завязывается даже перепалка, но потом утихает, и опять раздаются отдельные выстрелы, разрывы снарядов и пулеметные очереди. Шум удаляется на восток. А впереди по-прежнему все так же тихо.

Батарея готова к маршу.

Рандалу, явно нервничая, изучает карту и ворчит себе под нос:

- Прорыв отсюда... Пехота группами уже увязла в трясине...

Нет, туда нам нельзя, утонем... Да, но больше нам идти некуда, нужно проскочить через дорогу, по которой прошли танки... Может, посчастливится...

Значит, мы почти в тылу у немцев, нам необходимо как-нибудь в обход соединиться со своими.

Наша маленькая колонна начинает продвигаться сквозь заросли. К счастью, земля не слишком мягкая, беспокойство вызывают только минные воронки, которыми полон весь кустарник.

Продвигаемся дальше. Впереди верхом командир и два разведчика, за ними Иванов и Рябцов с ручным пулеметом,

следом одноколка связистов и потом уже вереницей тянутся остальные.

Голова колонны вышла к деревенской дороге, на ней еще не остыли следы гусениц. Ни одной живой души. Горящая полуторка. И две пароконные телеги вместе с ездовыми и лошадьми, навеки завершившими здесь в кустах свою поездку. Из-разбитых повозок просыпались в дорожную пыль пшено и лапша, у одного повозочного чудовищно разнесло полголовы и изуродовало всю верхнюю часть тела.

Связные торопливо роются в повозках, стаскивают ящики с жиром и консервами и мешок пшена.

- Куда вылезли! - кричит старший лейтенант. - Сейчас же обратно в кусты!

И вовремя, потому что с запада стало приближаться какое-то урчание. Это не танки. На дорогу выскакивают три мотоцикла с пулеметчиками в колясках. Иванов и Рябцов вопросительно смотрят на Рандалу, но тот показывает рукой: ложись, ложись, укройся!

Почти весь оставшийся личный состав успевает спрятаться в придорожном кустарнике, только орудия и лошади немного отстали.

Мотоциклисты останавливаются метрах в пятидесяти от нас. Один из них выскакивает из коляски и пристально смотрит вперед. Местность отсюда далеко не просматривается, в полукилометре пустая дорога исчезает за поворотом. Немец идет к повозкам, шарит в поклаже, громко смеется и что-то говорит своим, те тоже смеются. Потом возвращается к мотоциклу. Тщательно прислушивается. Один из мотоциклистов берет бинокль и внимательно оглядывает кустарник по обе стороны дороги. Нас он не разглядел, потому что по-прежнему спокоен.

И тут происходит нечто совершенно неожиданное. Лошади одной из упряжек начинают вдруг визгливо ржать. Ну, ясно, упряжки ведь теперь сборные, лошади в паре незнакомые, непривычные, и нет ничего удивительного, что они норовят укусить одна другую и лягнуть. Правда, буянят они все же довольно далеко от дороги, а мотоциклисты на порядочном расстоянии от нашего укрытия, но все же что-то до них доносится. Они продолжают прислушиваться, а кони расходятся все больше, или - это только нам так кажется? Во всяком случае немец с биноклем довольно правильно указывает направление, где происходит возня.

Однако старший лейтенант Рандалу уже принял решение:

- Иванов, огонь! - кричит он в полный голос. - Ребята, стреляйте!

Наверно, то были последние слова, которые немцы услышали в этой бренной-жизни. Две-три очереди, беспорядочный треск карабинов. Спустя две минуты все было кончено.

Батарея прорвалась через дорогу, упряжки неслись прямо галопом. К счастью, на этом проселке не оказалось глубоких канав. Разведчики бросились к убитым немцам, забрали оружие и документы и подожгли мотоциклы.

Ох, как нам повезло с этим рывком! Едва мы углубились в лес на километр, как на той же дороге залязгало новое танковое подразделение, за которым наверняка шагала и немецкая пехота.

Лишь на следующее утро, едва передвигая ноги, наша батарея, от которой осталась едва ли половина, догнала полк. Смертельно усталые люди и лошади.

А в полдень мы снова заняли позиции.

Выходит, все вчерашнее было лишь легким щекотанием нервов, маленькой прогулкой. Ну ладно, хорошо еще, что все так обошлось.

Как выяснилось из документов, там на дороге мы убили начальника полковой разведки, двух унтер-офицеров и трех солдат. И то дело!.

У одного из унтер-офицеров в кармане была семейная фотография. Жена ничего собой не представляла, но дети очень красивые, особенно младший. Три славных мальчугана.

Мы беспокоились за Вийрсалу, кто его знает, насколько глубоким был танковый прорыв и когда удалось его ликвидировать. А вдруг раскатали медсанбат?

(К счастью, этого не случилось. Вийрсалу окончил войну в звании гвардии майора, имея четыре боевых ордена. Член партии, он жив и сейчас, где-то директорствует, хотя мог бы уже выйти на пенсию. У него четырехкомнатная квартира, машина, дача с финской баней, третья жена и огромная овчарка. В компании он всегда в центре внимания благодаря запасу анекдотов. Детей у него нет, наверно, уже и не будет, откуда же им взяться, если их не хотят?

Старший лейтенант, коммунист Пяртельпоэг весной 1945 года на военном параде в Таллинне, как хозяин, ехал впереди своей батареи. После выхода в запас он руководил МТС где-то в Южной Эстонии, потом был директором совхоза. В пятьдесят лет стал Героем Социалистического Труда. Его старший сын ветеринар, младший - учитель истории, дочь - детский врач. У него семеро внуков. Жизнь идет дальше, куда она денется. Сейчас Пяртельпоэг весит вдвое больше, чем весил в рабочем батальоне. И это еще без волос, потому что уже лет пятнадцать как облысел.)

Кошка - животное, которое любит свой дом даже больше, чем хозяина или хозяйку. Поэтому ничего нет удивительного в том, что в одной сгоревшей деревне, на одном из пепелищ мы обнаружили симпатичную кошечку. Кирсипуу взял ее с собой, жалко ему стало зверушку. Тем более что кошка была еще совсем молоденькая и резкая перемена в жизни могла стать для нее роковой. На марше мы несли ее на руках, она довольно скоро к нам привыкла и на редкость быстро выучила эстонский язык. Поскольку обычная солдатская похлебка особого восторга у нее не вызывала, мы отдали ее на кухню, там ей могло перепасть и что-нибудь более кошачье. Кроме того, там было теплее можно было погреться у огня, мелькавшего под котлом, или на теплой крышке. К тому же много безопаснее, чем на передовой. Мы часто навещали ее, ходили повидать, проведать, погладить, обменяться мыслями. У нее была очень славная широкая хитрая мордочка и спокойные, неторопливые повадки, чем она сильно напоминала нашего начпрода, капитана Рулли с его, как бы это сказать, кошачестью. Кроме того, у них с начпродом сложились очень хорошие отношения, они составляли редкостную пару, какая наверняка не встречалась ни в одном другом фронтовом полку Красной Армии.

Сперва кошечку окрестили Лонни, но потом выяснилось, что это была постыдная и обидная оплошность, что подтвердил и ветеринар, которого притащил Рууди. С тех пор ее стали звать Николай. Какой-то зубоскал посоветовал назвать ее Адольфом, но ребята единодушно решили, что невинный зверек ничем не заслужил такого бесчестия.

И был еще такой необыкновенный случай: Сярель обнаружил в лесу корову, которая, очевидно, дезертировала из большого стада, отогнанного в тыл. По правде говоря, корова была так себе, а все-таки натуральная. Она тихонько мычала от боли, потому что уже несколько дней была недоена и от молока у нее ныло вымя. Рууди приступил к доению, это было настоящее цирковое представление: вокруг все побелело от пены, с брюк у него капало, в сапогах чавкало, а корова то и дело оглядывалась: вот и доверь сосок полоумному... В конце концов дело все же настолько продвинулось, что на дне ведра плескалось молоко - котелка два.

- Ну, пей теперь, на здоровье! - кричали Рууди ребята, покатываясь со смеху. - Столько надоил, что даже в рот попадет.

Однако Рууди взял ведро и направился к кухне.

Коля вылакал полную крышку от котелка. Налили вторую. И для нее место нашлось. Третью. Киска на глазах раздувалась, и ясно было слышно, как у нее шкурка трещала по швам. Раздавшаяся, как бочонок, зверушка наконец, пошатываясь,

пошла на разостланный рядом с котлом мешок, где было ее место, завалилась, сощурив глаза, еще раз облизнула розовый нос, попыталась благодарно посмотреть на нас, но, наверно, ничего не увидела, потому что нещадно раздувшееся брюшко закрыло всякий обзор.

- Живодер несчастный! - крикнул Сярель на Рууди. - Затянул бы сперва Николая ремнем, как бы он у тебя сейчас не лопнул.

- Бузулуков, - обратился Рууди к повару, протягивая ему ведро с молоком, - как только очухается, налей еще одну полную! Только молоко прежде согрей!

А нам сказал:

- Пусть на этой войне хоть на чью-нибудь долю выпадет праздник!

Праздник некоторым образом выпал и на нашу долю: дезертирку-корову зарезали и, пройдя через котел, она вернулась к нам. И у нас к вечеру так выросли животы, что, стоя, мы не видели носков собственных сапог. Одна ко никто из нас не лопнул, ни кошка, ни мы. Нас, разумеется, уберегли тугие кожаные ремни.

(Мы никогда не узнали, что наш полковой кот Николай, с которым эстонские ребята в последних числах сентября, уезжая в рабочий батальон, попрощались и просили им писать, в марте 1943 года бесследно исчез. Неодолимый любовный зов, оказавшийся сильнее его, заставил пренебречь воздержанной солдатской жизнью, регулярным приличным питанием и теплой постелью и искать ближайшую деревню. Может быть, он погиб в поисках любви, как погибли многие и до, и после него, потому что любовь жестока и несет боль.)

75

Сейчас мы стоим здесь и знаем наверняка, что здесь нам будет тяжелее, чем когда-либо раньше. Сердцем мы чувствуем, что стоим в последний раз. Только чудо может подарить нам жизнь. Мы хотим в это чудо верить, но надежда на него так мала и так зыбка, что для разума она просто не существует. Но все мы хотим жить, сейчас мы еще живы, и солнце такое горячее, что даже колышется воздух, но скоро здесь будет смерть. Это ясно. Мы это знаем, и поэтому мы как во сне. Мы движемся, выполняем команду и распоряжения, мы закуриваем и затягиваемся папиросой, все мы как во сне, мы смотрим на дорогу впереди и ждем, чтобы все скорее уже началось и еще скорее закончилось. Моя последняя затяжка, думаю я, и носком сапога вдавливаю окурок в землю. Но через четверть часа я снова закуриваю и, не знаю почему, радуюсь, что предыдущая все-таки не была последней.

Из нас наспех составили подразделение, чтобы прикрывать мост. Нас двадцать один человек и два орудия, нами командует лейтенант Рокс, с нами и политрук Шаныгин. Этот огневой взвод сформирован на ходу, повезло тем, кого нет с нами. Из ребят мне ближе других здесь Ийзоп.

За спиной у нас на песчаной пустоши метров пятьдесят низкорослых сосновых саженцев, дальше тянется отвесный берег большой реки. У его подножия широкая, метров в десять, песчаная полоса с густой ивовой порослью. За ней глубокая река, метров двести шириной, и другой берег, там центр большого совхоза, который немецкие самолеты часа два назад бомбили. Часть домов горит. Слышен треск сухих бревен.

Полк уже давно на той стороне реки, километрах в трех-четырех отсюда. Лейтенант Рокс, командир нашего прикрывающего взвода, переправил через реку и наши упряжки. Если мы поляжем здесь, лошади неизбежно или погибнут в зарослях, или попадут к немцам. А если нам удастся удержать мост, они смогут перейти реку обратно и прийти за нами. Один из наших наблюдателей на другом берегу. Ему нас не видно, но, если он услышит, что мы больше не стреляем, то сможет добежать до полка и доложить, что нас больше нет...

Мы защищаем мост через широкую русскую реку, названия которой мы не знаем. В сущности, это даже не мост, а временная переправа, которую навели саперы: поверх толстых продольных бревен плотно настланы поперечные балки. Он выдерживает небольшие грузовые машины, обозные повозки и даже пушки, хотя тут балки, пригибаясь, погружаются в воду. Перейти с лошадьми было непросто, потому что ноги у них застревали в щелях между бревнами. Все-таки перебрались. В мирное время здесь ходил паром, который стоит сейчас привязанный к другому берегу.

На западном берегу, наверно, еще остались войска, поэтому необходимо эту переправу защищать до последнего мгновения, пока ее не взорвут саперы. Заряды у них уже заложены. Несколько часов назад немец переправу бомбил, но не попал, только поджег совхоз на том берегу.

Перед нами на дороге вздымается пыль, огонь пулеметов и разрывы мин намного приблизились. Нет, это не немцы, в бинокль идущих хорошо видно.

Приближается весь в мыле, загнанный, жалкий пехотный обоз, лошади с кровавыми потертостями от неподходящей упряжи. В нем и колхозные телеги, поклажа на возах плохо уложена, наверно, в последнюю минуту. Половина обоза с ранеными. Загнанных кляч подстегивают ездовые, трусящие

рядом.

Потом бегом бежит колонна пехоты, по всей вероятности, остатки батальона, если не полка, заросшие лица, серые от пыли, на лбу и щеках посверкивают струйка пота, поверх затвердевших от соли гимнастерок скатки, на ремне винтовки со штыком. Ни одного автомата. Подразделением командует белокурый лейтенант, совсем еще юноша, он бежит рядом с прихрамывающими, пыхтящими солдатами, в глазах у него бесконечная усталость и безразличие.

- Уходите! - кричит он нам. - Мы последние!

- Лейтенант, - кричит ему Шаныгин, - дайте нам один взвод и один пулемет. Мы должны до последней возможности удерживать подходы к мосту.

- Стой! - командует лейтенант. Колонна неохотно останавливается - ведь спасение близко, дорога каждая секунда. Однако пулемета у них нет.

- Как? Артиллерия здесь единственное прикрывающее подразделение? удивляется запыхавшийся лейтенант.

- Именно так, - отвечает Шаныгин, - мы ведь не знаем, есть ли еще впереди пехота. Дай мне людей, нас всего два десятка.

Обоз уже подъехал к переправе.

Беспомощно смотрит лейтенант на свои разорванные на коленях брюки, на тяжело дышащих, смертельно усталых солдат и ничего не говорит. Он и не успевает ничего сказать, потому что воздух вдруг сотрясается от падающих мин. Грохот разрывов, клубы пыли, вой осколков, люди мгновенно рассредоточиваются. Часть из них сразу же вскакивает на ноги и бросается к переправе, никакая сила не способна их остановить, потому что это уже паника. Мы не замечаем, как кое-кто из нашего подразделения в двадцать один человек присоединяется к тому потоку. Через пять минут нас только десяток.

Новый огневой удар, и снаряды на этот раз ложатся ближе к нашим орудиям. Осколки звякают по щитам, шлепаются в кусты.

Совсем неожиданно слева от нас начинает строчить станковый пулемет немцев. Он метит в переправу, но прицел взят слишком далеко, дорожку пуль отмечают взлетающие рядом с переправой крохотные столбики воды. Пауза. Прицел уточняют. Теперь недолет, пули чертят дорожку справа от переправы.

Обоз и первые пехотинцы уже по ту сторону реки. У нескольких лошадей ноги провалились между бревен, телеги дергаются на месте, бегущая пехота пытается их обойти. Мгновение тишины, и пулемет начинает бить по переправе, люди падают в воду и на бревна настила, кое-кто пробует спастись вплавь, но человек с полной выкладкой тяжел, а течение в

середине реки довольно быстрое...

Третий огневой удар... На этот раз снаряды пролетают над нами и ложатся на береговой склон, на подход к переправе сыплется туча жужжащих осколков.

Молодой пехотный лейтенант и горсточка солдат подразделения остались по эту сторону реки. Лейтенант Рокс очень спокойно дает нам команду передвинуть орудие, шесть-семь пехотинцев без всякого приказа приходят к нам на помощь. С большим трудом перетаскиваем орудие через дорогу, ломая ветки, пробиваемся сквозь узкую полосу зарослей и, укрытые ею, останавливаемся. Да, в полукилометре отсюда, на овсяном поле маленькая возвышенность, и на вершине ее пулемет и немецкий расчет из трех человек. Нас скрывает от них кустарник, но половина переправы во всяком случае им видна как на ладони. Пехотный лейтенант с нами, он скрежещет зубами и в бессильной ярости колотит своими грязными мальчишескими кулаками по коленям.

Рокс, с его пятнадцатилетним опытом сверхсрочной службы, дает решительный выстрел. Единственный. Но больше и не требуется. У нас заложило уши, мы ничего не слышим, потому что выстрел трехдюймовки звонок, как щелк бича. Но мы видим столб дыма там, где был пулемет. Светловолосый пехотный лейтенант долго смотрит на Рокса, а когда мы откатываем орудие обратно, и он, и его люди делают это особенно усердно.

Сейчас произойдет неизбежное. Теперь им известно, что в зарослях есть по крайней мере одно орудие. Они никогда не простят нам легкость этой победы прямо у них под носом.

Целые полчаса прочесывают минометы подступы к переправе. Уткнувшись носом в землю, ждем, когда это кончится, потому что сделать мы ничего не можем. Их минометы, возможно, где-нибудь в километре или полутора позади, наверняка защищенные оврагом или склоном холма. С нашей пологой траекторией мы не можем достать их снарядами, у нас нет ни карты, ни выдвинутого вперед наблюдательного пункта, чтобы хотя бы приблизительно нащупать эту треклятую батарею. Мы держим под наблюдением дорогу и стреляем прямой наводкой, а это нелегкий труд, если знать, что старую трехдюймовку, по правде говоря, поворачивать можно только за лафет.

Два пехотинца и трое из нашей батареи получили ранения. Один из них Ийзоп.

(Разумеется, я никогда не узнал, что Ийзоп со своей раненой рукой не успел перейти через реку, что в прибрежном ивняке немцы взяли его в плен, и он шагал до Пскова, в лагерь военнопленных. В лагерном госпитале (?!) его рана сильно

загноилась, но душа в нем еще теплилась, и в октябре он добрался домой в Хеймтальскую волость Вильяндиского уезда. Разумеется, я не мог узнать и того, что позже он "добровольно" оказался в Омакайтсе, за что после войны получил пятнадцать лет и где-то на севере добывал уголь, пока не вышла амнистия. В 1965 году, когда он умер уже безнадежным пьяницей, в последний путь его провожали восемь человек, среди них и его бесконечно измученная жена Аделе, лучшая доярка в колхозе, и трое детей, с такими же льняными волосами, как и у Ийзопа. Конечно, могила наш общий удел, и в общем-то не все ли равно, опускают нас в нее пьяницами или какими угодно иными.)

...Вот она идет, она неминуемо должна была прийти - немецкая пехота, цепь за цепью. Может быть, ее было не так много, как нам казалось...

Мы поливаем их картечью, но они все равно идут - перебежками, ползком, непрерывно стреляя. У нас никакого автоматического оружия.

У нас уже много убитых, раненые лежат на берегу реки, те, у кого ранения полегче, пошатываясь, бредут к переправе.

Пехотный лейтенант со своими солдатами отступает, в глазах застывшее отчаяние. Он даже не делает попытки остановить своих солдат, пробивающихся к мосту.

- Товарищи, хоть раненых возьмите с собой... - цедит сквозь зубы Шаныгин. Лейтенанту становится, наверно, стыдно, он топчется на месте, вытирает рукавом пот, потом бежит вслед. Конечно, ему не давали приказа защищать мост, кроме того, несколько человек из его потрепанной роты здесь полегло. Мы не считаем уцелевших, какой смысл. Нам уже все равно, потому что переправа опять под обстрелом. Люди там падают, прыгают в воду, паника растет.

Мы еще сопротивляемся - от отчаяния, от злости, от бессилия. Картечь картечью, но они упорно продвигаются вперед.

Они так близко, что уже всю позицию захлестывает огонь автоматов.

- Рокс, мы ничего больше сделать не можем, - кричит Шаныгин, - бейте прицелы, будем уходить!

- Дадим еще один выстрел, последний, снаряды тоже кончились, - отвечает Рокс с едва заметной дрожью в голосе.

Два оглушительных выстрела.

Но Рокса нет, пулеметная очередь срезала его у орудия. В общем хаосе сражения это произошло даже как-то незаметно. Совсем-совсем просто. Какая-то доля секунды - и этого уравновешенного лейтенанта не стало...

Шаныгин машет рукой, мы начинаем ползти к реке.

На середине пути останавливаемся, потому что дальше двигаться нет смысла: раздается глухой удар взрыва, взлетает водяной столб и бревна, вращаясь, летят в воздух. Минеры взорвали переправу.

Придется здесь умереть, потому что идти нам больше некуда.

Первым был убит Шаныгин, потом я получил очередь в грудь.

Раскинув руки, я упал навзничь. И это было счастье, потому что последнее, что я увидел, была не морда этого рыжего немца, который меня убил, а огромное голубое небо. Нежное, светящееся и прозрачное, каким оно бывает ранней осенью, каким оно бывало в это время года и тысячу лет назад и где-то там, в том месте, которое называли домом... На сотую долю секунды мелькнули перед глазами родная лужайка с ромашкой и маленький босоногий мальчуган, слушающий на этой лужайке кукушку. Боже мой, да ведь это же я... И сразу тихо и темно...

Что произошло потом, вы уже прочитали в начале. Рядом со мной, рядовым Яном Таммом, в братской могиле лежат еще два парня, мои однополчане и мои сверстники, потом несколько пехотинцев, дальше этот мальчик из соседней деревни, которого расстреляли за то, что он бросил бутылку с горючим в их танк, за ним - лейтенант Рокс и политрук Шаныгин, которого немцы уже мертвого искололи штыками за то, что у него было удостоверение политрука.

(Так я никогда и не узнал, что Рууди, гвардии старшина Рудольф Вахер, мужчина с красивыми черными усами, после демобилизации был назначен председателем исполкома в его родной волости. Теперь он хромает. Черной сентябрьской ночью 1948 года лесные братья из немецкого автомата прострелили ему левую ногу, когда он шел из деревни, где занимался уборкой урожая. Ему, не получившему на фронте ни одной царапины, повезло и на этот раз; в больнице его залатали, и из него получился неплохой председатель колхоза. Конечно, ему бывало нелегко, что там говорить, потому что, помимо всего остального, жизнь ему отравляли женщины и вино...

Кстати, с Рууди произошла еще и такая история: когда эстонские ребята, находившиеся на фронте, прибыли в строительный батальон на Урале, он заявил, что им дают недопустимо жидкую баланду, и старшина роты, от которого разило водкой и блудом и который лез из кожи вон перед начальством, заорал на него:

- Ты, фашист, еще чего-то требуешь! Скажи спасибо советской власти, что тебя не отправили подыхать куда-нибудь в лагерь!

Рууди шагнул к старшине и так рявкнул на этого немца, что тот побелел:

- Терси морта, лякуска! Мый - фронтовики!

За это его отправили в лес на самые тяжелые работы.

А когда он вернулся в Эстонию, какая-то случайная смазливая бабенка, которую он хотел заключить в свои объятая, ему сказала:

- Только тебя, коммуниста, здесь недоставало! Видеть тебя не могу!

Итак, Рууди человек, которого в этой великой войне били с двух сторон... Наверно, и это нелегко было пережить.

А Рандалу вернулся с войны полковником, многие годы где-то незаметно руководил скромным предприятием и сейчас уже несколько лет на пенсии. Сярель, офицер политсостава, стал уважаемым партийным работником. В тридцать лет он был совершенно седой.)

Я не скажу, что мы здесь забыты.

На нашей братской могиле выросла сирень, и каждую весну она цветет. После войны посреди нашей могилы установили бетонную глыбу, которая имитирует природный валун. Ее венчает пятиконечная звезда на ржавом стержне, весь камень вымазан рыжей краской, только спереди он серый, и здесь черная надпись: "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость надшей Родины".

Значит, и я после смерти стал героем. Как-то даже не могу сказать, правильно это или нет. Может быть, все-таки правильно? Впрочем, и мне, и всем остальным здесь, в земле, это в общем безразлично, но умерли мы честно, этого никто не может отрицать.

В День Победы сюда обязательно приносят венок и школьный учитель произносит коротенькую речь. Разумеется, не называя ни одного имени и не упоминая номера нашего полка, потому что и то и другое неизвестно. Те, у кого не вернулись с войны сыновья, мужья или братья, роняют несколько слез. Те, у кого погибли отцы, плачут редко, потому что знают их только по пожелтевшим фотографиям.

Таких братских могил на дороге из Пскова в Старую Руссу и оттуда дальше, в Лычково - несколько. Много в псковской земле эстонских ребят, имен которых никто не знает, но теперь все они герои.

Мы тот другой, невидимый строй, в который потом влилось ох какое большое пополнение под Великими Луками, на полуострове Сырве и в Курземе. Но мы в этом мрачном строю в первых рядах. Только, как знать, счастливее ли мы от этого. Все мы еще молоды и деятельны, а в конец нашего строя постепенно приходит пополнение седых и лысых. Это фронтовики, которым

выпало счастье пережить великую войну, и теперь они приходят к нам уже не под грохот сражения, а в гражданской одежде, в белых рубашках и черных галстуках.

Мы неслышно шагаем рядом со всеми, кто еще ступает по покрову земли. Тихо возникаем во все более тускнеющих воспоминаниях, иногда невесомо кладем руку на плечо бывшему однополчанину и спрашиваем сердцем, не ртом:

- Помнишь? Ну, как, старый батарейный кули, готов ли ты дать еще выстрел?..

А когда отсюда, с псковской земли, дует юго-восточный ветерок и по вечерам стучит в окна ваших новых счастливых домов, знайте же, что этот самый ветер, пролетевший поверх наших скромных обиталищ в земле, как бы привет того далекого времени всем вам в моей милой Эстонии.

Тюрна 1966 - Тарту 1978